

Татьяна Кутковец
Игорь Клямкин

РУССКАЯ САМОБЫТНОСТЬ

Институт
социологического анализа
Москва 2000

Содержание

Введение	5
Глава 1.	
Коллективизм:	
жизненная ценность или след ушедшей эпохи?	14
Слово с невнятным смыслом	15
Почвенники или западники?	16
Между «хочу» и «могу»	18
Коллективизм и политическое поведение	24
Глава 2.	
Справедливость и равенство	27
Конец утопии	28
От уравнительности к равенству возможностей	32
Глава 3.	
Порядок и свобода	37
«Порядок плюс свобода» — формула большинства	38
«Порядок важнее свободы» — формула меньшинства	47
Глава 4.	
Государство и власть	53
Оборонное сознание	56
Преданность без покорности	62
Глава 5.	
Духовность и душевность	72
Апология чувства	74
Духовное и материальное	80
Россия и Запад: где люди более духовны?	84
Глава 6.	
Конформизм и диссидентство	90
Терпеливцы, нетерпеливцы и скромники	92
Терпеливцы и неформалы	101
Те же и формалы	111
Вопрекисты	120
Глава 7.	
Российский и западный работник	130
Качества работников	131
Побуждения к труду	139
Глава 8.	
Демократы-западники	
и социалисты-реставраторы	154
Два взгляда на российскую самобытность	155
Образы России и Запада	163
Еще раз о русском и западном работнике	171
Выводы	178

Идеологи и политики почвеннической (державно-патриотической) ориентации много говорят сегодня об особом историческом пути России, вытекающем из ее специфических особенностей. Слово «самобытность» — едва ли не ключевое в их политическом словаре.

Между тем их оппоненты (западники разных направлений) это слово стараются не употреблять, улавливая в нем отголоски того самого прошлого, от которого они хотели бы Россию увести. И — тем самым — оставляют все, что касается российской самобытности, в монопольном пользовании своих противников. Последние же, при отсутствии конкурентов, могут особенно не утруждать себя разъяснениями относительно своего понимания русской самобытности и ее проявлений в прошлом и настоящем. Зато могут обвинять западников в неуважении к национальным традициям, отсутствии патриотизма или, что то же самое, в нелюбви к России и к ее народу. У обвиняемых есть право на защиту, но они им почти не пользуются, а не пользуются потому, что не хотят вести борьбу на идеологическом поле, которое считают чужим.

Такая позиция кажется нам совершенно бесплодной. Вопрос о русской самобытности — это воспроизведенный в новых условиях старый вопрос о том, насколько Россия готова к самореформированию и каким оно может и не может быть. Поэтому стесняться публичного употребления даже самого слова «самобытность» — значит, продемонстрировать свою идеологическую беспомощность и соглашаться на незавидную роль чужаков в собственной стране. Ни одна политическая сила не может без ущерба для себя отказываться от включения его в свой словарь, а главное — от его собственного толкования. Иного тут, как любили говорить лет десять назад, попросту не дано.

Вряд ли есть смысл спорить с тем, что любая страна может развиваться только самобытно, то есть в соответствии со своими традициями и обычаями. Самобытно — значит оригинально. Или, если воспользоваться расшифровкой Владимира Даля, — **неподражательно**. Что, однако, означает эта расшифровка в тех случаях, когда речь идет не об индивидуальных творческих достижениях (как у В. Даля), а о странах и народах? Можно, скажем, говорить о самобытности русского фольклора, русского языка или русской культуры в ее высших воплощениях. Но что считать неподражательно-самобытным в российской экономической и политической истории? Что в ней является непреходящим, имеющим право претендовать на сохранение в качестве национальной традиции, а что — временным и ситуативным?

Вопрос, прямо скажем, не из легких. Петр I, например, одновременно и подражал Западу в том, что касается техники и технологии, и был оригинален в изобретении неведомых Западу экономических и политических механизмов, позволивших перенести многие западные достижения на отечественную почву. У Петра Алексеевича, как известно, впоследствии нашлись последователи. Следует ли отсюда, что способы реформирования, использовавшиеся им и усовершенствованные большевиками два столетия спустя, явились воплощением самобытной отечественной традиции, которой не суждено когда-либо устареть и иссякнуть? Да нет, не следует. На тех или иных этапах своего развития страна может решать встающие перед ней задачи вполне самобытно, то есть никому не подражая. А потом признать свои претензии на оригинальность исчерпанными и примириться с тем, что приходится сворачивать в историческое русло, проложенное другими народами, заимствуя у них и примеряя к себе то, что успело доказать свое превосходство.

Это не снимает вопроса о российской самобытности, а переводит его в конкретную плоскость. В чем именно состоит российская самобытность, причем не вообще, а именно сегодня? Такова ли она, какой была сто, двести или триста лет назад, когда проявлялась в отторжении западных принципов организации экономической и политической жизни, или в чем-то изменилась? Если такова же, то она обрекает нас на очередное повторение пройденного со времен Петра Великого до «великого Сталина». А если изменилась, то в чем именно и как это может повлиять на исторический путь страны?

Далеко не все современные отечественные почвенники, апеллирующие к русской самобытности, провозглашают Петра I, а тем более Сталина своими предшественниками. Наоборот, многие из них того и другого считают разрушителями национальных традиций, сближаясь тем самым со славянофилами, которые и были первыми идеологами отечественной самобытности. Они искали и находили ее в особенностях русского народа, которые, с одной стороны, принципиально отличают его от народов западных стран, а с другой — составляет его преимущество перед этими народами. Ничего нового, строго говоря, с тех пор не изобретено: нынешние отечественные почвенники почти дословно повторяют сказанное полтора столетия назад. Поэтому есть смысл воспроизвести некоторые высказывания славянофилов. Они утверждали, что:

— в странах Запада царит культ личной свободы, «индивидуальной изолированности» (Ю. Самарин); в России же имеет место общинность, «хоровое чувство» (А. Хомяков);

— в странах Запада жизнь основана на «эгоизме собственнос-

ти» и, соответственно, исключительно на «личной пользе»; в России — на «общинном единстве», которое есть «основной камень всех общественных понятий» (А. Хомяков);

— в странах Запада господствует материальное начало со свойственной ему «прихотью моды», там роскошь быта — «почти добродетель» (К. Аксаков); в России — начало духовное, «совесть и дух», которым соответствует «простота жизненных потребностей» и восприятие богатства как чего-то второстепенного (П. Кириевский);

— в странах Запада правит бал «всеобщий эгоизм» и «чувство самолюбия»; в России — «терпение, простота и смирение» (А. Хомяков);

— в странах Запада люди подчинены законам, которые носят формально-юридический, внешний и чисто принудительный характер, никак не соотносясь с присущим человеку внутренним чувством справедливости; в России же имеет место «законность внутренняя и истинная», предполагающая «суд по обычаю, совести и правде» (А. Хомяков).

А теперь перелистаем программную книгу «Современная русская идея и государство» (М., 1995), подготовленную государственно-патриотическим объединением «Духовное наследие». Ее авторы исходят из «невозможности перенести идеологию и практику западного либерализма на национальную российскую почву», так как эта идеология и эта практика несовместимы с самобытными особенностями российских народов. Самобытность же их заключается в «соборности (коллективизме), державности (государственной самодостаточности) и стремлении к воплощению высших небесных идеалов справедливости и братства в земной действительности». Перечисляя «основные элементы формирующейся современной Русской Идеи», авторы упоминают и о «приоритетах духовных ценностей над материальными, отрицании в основном меркантилизма и вещизма».

Нетрудно заметить, что нынешние почвенники не очень последовательны в своем следовании славянофильской традиции. Во-первых, ее основатели не приняли бы это неловко-компромиссное «в основном», понимая, что оно требует определить границы допустимого «меркантилизма и вещизма» или, в их терминологии, границы следования моде и приемлемой роскоши быта, а это может завести лишь в тупик. Во-вторых, слово «державность» для них было чуждым, в нем они улавливали отзвуки учиненного Петром I государственного насилия над русским народом и его самобытностью. Сегодня же мы можем наблюдать, как славянофильская традиция в идеологических построениях современных почвенников соединяется с традицией державно-государственнической,

которая тоже объявляется (хотя и без ссылок на Петра Великого и Сталина) органически присущей русскому народу. Эта традиция еще во времена славянофилов свое классическое выражение нашла в формуле графа С. Уварова: «Народность наша состоит в беспредельной преданности и повиновении самодержавию» (его сегодняшние последователи меняют в этой формуле лишь одно слово: вместо «самодержавие» они говорят «государство»).

Это весьма примечательно, что, даже говоря о самобытной российской государственности, нынешние почвенники конструируют ее образ, апеллируя чаще к особенностям **народа**, принципиально отличающим его от народов западных стран, чем к именам и практической деятельности императоров и генсеков, которые эту самобытно-державную государственность олицетворяли. Предполагается, очевидно, что к персонам, которые воплощали его традиции в жизнь, народ относится настороженно, но к самим традициям сохраняет уважение, считает их своим самобытным достоянием и ждет лишь лидеров, способных им следовать. Но так ли это на самом деле? Насколько представления прошлых и нынешних почвенников о самобытности россиян соответствуют представлениям о ней самих россиян?

Этот вопрос и был главным среди тех, которые мы ставили перед собой, замышляя исследование «Особый путь России». [(Сноска 1) Опрос населения, на основе которого осуществлялось исследование, проводился в мае 1996 года по репрезентативной общероссийской выборке. Были опрошены 1519 человек.]

Мы решили выяснить, как сам народ представляет себе свои самобытные особенности или, что то же самое, мы предоставили ему возможность провести экспертизу наиболее распространенных мнений о нем, имеющих хождение в кругу политиков и идеологов почвеннической ориентации. Разумеется, набор мнений, предлагавшихся для экспертизы, не может претендовать на полноту. Но все, о чем говорилось выше и что имеет прямое отношение к политике и идеологии, мы постарались учесть. Кроме того, наряду с почвенническими представлениями о российской самобытности, мы включили в анкету и некоторые представления идеологов русского западничества. В глазах последних многое из того, что почвенники считали и считают добродетелью, выглядит чем-то прямо противоположным: то, что для одних — беспрекословная преданность и повиновение государству или, скажем, стремление решать конфликты на основе внутренней (веление совести), а не внешней (формально-юридической) законности, для других — проявление рабской покорности перед властью и привычки действовать в обход закона.

И, наконец, самое главное: нас интересовали не только **пред-**

ставления людей о самобытности России, но и **оценки** ими особенностей народа, которые эту самобытность, по их мнению, составляют. Способствуют эти особенности развитию страны, ее движению к процветанию или, наоборот, препятствуют такому движению, тормозят его?

Вот ответы, которые мы получили на свои вопросы.

Таблица 1. Представления россиян о самобытных особенностях России и ее народа и оценка этих особенностей (данные в процентах от общей численности опрошенных

[(Сноска 1) При ознакомлении с таблицей надо иметь в виду, что отдельные особенности оценивались только теми респондентами, которые считают эти особенности присущими россиянам. Так, если терпеливость положительно оценили 32% опрошенных, а отрицательно — 27%, то это значит, что те и другие входят в состав 67% респондентов, назвавших терпеливость самобытной чертой россиян. Это означает также, что 8% $(67-(32+27))=8$ опрошенных отметили терпеливость среди присущих россиянам особенностей, но оценить эту особенность затруднились.]

	Что из перечисленного о лучше всего выражает Ваше представление об особенностях России, о самобытности ее народа?	Какие из особенностей России являются, на Ваш взгляд, ее достоянием, способствуют ее величию?	Какие из особенностей России и ее народа, на Ваш взгляд, мешает России стать процветающей страной?
Терпеливость россиян (способность в течение длительного времени переносить трудности и лишения)	67	32	27
Жизнестойкость россиян (способность вопреки притеснениям и запретам власти развивать свои таланты, стремиться к знаниям, творчеству и т. п.)	60	53	3

Привычка россиян довольствоваться малым (скромные потребности большинства населения)	53	12	34
Коллективизм россиян (склонность действовать и решать большинство жизненных проблем сообща, а не индивидуально)	51	38	7
Духовность россиян, преобладание духовных ценностей над материальными	51	45	2
Склонность россиян во всем уповать на власть (уверенность в том, что решение большинства жизненных проблем зависит только от власти)	50	4	41
Покорность россиян (готовность смириться со всем, к чему принуждает власть)	47	4	37
Преданность россиян государству (готовность людей подчинять свои личные интересы интересам государства)	42	31	6
Обостренное чувство справедливости россиян (стремление людей к обществу, где нет значительных различий в уровне доходов)	41	21	13
Склонность россиян решать жизненные проблемы в обход закона	29	2	24
Склонность россиян переводить деловые, официальные отношения в дружеские, неформальные	29	10	14

Склонность россиян считать, что порядок в стране важнее политических свобод	25	7	13
Нетерпение россиян (желание быстро, не считаясь с реальными возможностями, решать сложные долгосрочные проблемы страны)	17	2	12
Обостренность у россиян чувства внешней опасности, военной угрозы	14	3	7
Ничто из перечисленного	0	0	1
Затрудняюсь ответить	4	3	3
Нет ответа	0	11	14

Не претендуя пока на обстоятельный анализ приведенных данных (по ходу изложения мы будем возвращаться к ним неоднократно), ограничимся самым общим комментарием.

Бросается в глаза, что в сознании опрошенных преобладают почвеннические представления о самобытности: в первую пятерку присущих россиянам особенностей вошли терпеливость, привычка довольствоваться малым (скромность потребностей), коллективизм и духовность (в ее почвеннической трактовке). Однако и либерально-западническая критическая версия российской самобытности тоже распространена достаточно широко — такие качества, как склонность во всем уповать на власть и покорность перед ней считает присущими россиянам половина опрошенных. Если добавить к этому, что на втором месте после терпеливости оказалась жизнестойкость, причем отнюдь не в почвенническом ее толковании, а именно — как способность народа к выживанию и жизнотворчеству **вопреки власти** и ее запретам, то картина будет выглядеть еще более сложной.

С одной стороны, многие люди фиксируют в народе то, что принято называть привычкой к рабству. С другой — еще больше людей полагает, что народ развивается и добивается успехов благодаря своей способности сопротивляться рабству, то есть не следовать этой своей привычке!

К этому парадоксу мы еще вернемся. Пока же отметим, что именно жизнедеятельность вопреки власти получила наивысший процент **положительных** оценок, намного опередив все другие самобытные особенности. Что же касается привычки к рабству, то

есть покорности перед властью, что бы она ни делала, и упования на ее милости и заботу, то эти два качества собрали, наоборот, самый высокий процент **отрицательных** оценок. Не исключено, что мы имеем здесь дело с **самокритикой народа**, с начавшимся самопреодолением им тотальной зависимости от власти.

Да, почвеннические представления о российской самобытности хотя и преобладают, но люди явно не в восторге оттого, что считают свойственным своим соотечественникам. Это проявляется не только в том, что многие из них отторгают традиционные для России отношения народа и власти. Это проявляется и в оценке терпеливости, занимающей с 67% голосов первое место среди отмеченных самобытных качеств россиян, — благо для страны в ней видят вдвое меньше людей (32%) и почти столько же (27%) усматривают в многократно воспетом русском долготерпении помеху, а не добродетель. Еще выразительнее выглядит отношение к довольству малым: 53% опрошенных назвали его самобытной чертой россиян (третье место) и лишь 12% выставили этому качеству положительную оценку (отрицательную — почти в три раза больше).

Если славянофилы и их последователи были правы (проверить мы это, к сожалению, не можем), если они действительно зафиксировали какие-то характерные, сущностные, архетипические черты русского народа, принципиально отличающие его от народов западных стран, то наши данные свидетельствуют о том, что эти черты теряют в глазах народа свое обаяние и начинают выглядеть не преимуществом, а недостатком. В сегодняшней его самооценке доминирует скорее чаадаевское, чем славянофильское начало.

Значит ли это, что почвеннические апелляции к самобытности обречены на провал, что серьезных политических дивидендов они принести не могут? Не будем спешить с выводами. Ведь почвенническую версию духовности и коллективизма и сегодня готово принять не так уж мало людей, их вполне достаточно, чтобы выиграть первый, а то и второй тур президентских выборов. Кроме того, даже в тех случаях, когда ту или иную особенность положительно оценивает незначительная часть населения, важно знать, что за этим стоит: не преодоленное прошлое или зарождающееся будущее, то есть наполнение старых архетипов новым смыслом, подобно тому, как это произошло после октября 1917 года. Не так уж важно, что порядок ставят выше свободы лишь 7% наших сограждан; важно, куда они смотрят: в прошлое, которое хотят реанимировать, или в будущее, которое хотят построить, приспособив наследие прошлого к новой исторической ситуации.

Поэтому мы сосредоточим основное внимание именно на тех, кто положительно оценивает особенности россиян, в которых современные почвенники видят главные проявления самобытности

живущих в стране народов. Говоря иначе, мы хотим детально исследовать идеологическую территорию, в освоении которой политики державно-патриотической ориентации сегодня являются монополистами. Это значит, что в первую очередь нас будут интересовать люди, восприимчивые к тем словам и символам, к которым апеллируют представители современного российского антизападничества. Что представляют собой эти люди? Какой смысл вкладывают они в привлекательные для них слова и символы и почему эти слова и символы для них привлекательны? Как относятся они к советскому прошлому и постсоветскому настоящему? Каким видят будущее страны? Каков в их глазах образ Запада? Можно ли утверждать, что их симпатии к почвеннической версии самобытности равнозначны признанию ими принципиальной несовместимости идеалов и ценностей россиян с идеалами и ценностями народов западных стран?

Попробуем ответить на эти вопросы. Естественно, что для рельефности портретов интересующих нас групп нам придется сопоставлять их как с населением в целом, так и с другими группами — прежде всего с теми, которые оценивают почвенные проявления российской самобытности отрицательно. В результате, как надеемся, читатель получит достаточно полную картину восприятия русской самобытности российским обществом.

Коллективизм: жизненная ценность или след ушедшей эпохи?

Говоря о коллективизме, часто имеют в виду самые разные вещи. Кто-то подразумевает под ним просто совместную деятельность множества людей, собранных под крышей одного предприятия или учреждения (в противовес, скажем, индивидуальному труду средневекового ремесленника); в этом смысле ничего специфически российского он в себе не заключает. В глазах других коллективизм ассоциируется с отношениями крестьян в русской общине, которые, впрочем, могут оцениваться неодинаково: как с точки зрения преимуществ общинного проживания (самоуправление, взаимопомощь в трудных обстоятельствах, ощущение защищенности), так и с точки зрения его неблагоприятности для развития личности, поглощенной общинным коллективизмом и всецело подчиненной его нивелирующим обычаям. Третьи подразумевают под этим словом досоветскую русскую артель, четвертые — самоорганизацию ее советских преемников-шабашников, пятые — отношения между людьми, которые складывались в ходе позднесоветских хозяйственных экспериментов (система Ивана Худенко, щекинский метод) или их постсоветских аналогов (самоуправление Святослава Федорова), предполагающих оплату труда в зависимости от конечных результатов коллективной работы.

Наконец, был еще официальный советский коллективизм, возникший после того, как коммунистическое государство разрушило все прежние общности людей (включая сельскую общину) и создало свою систему трудовых и прочих коллективов, о которых большинство наших сограждан хорошо помнит. Несколько забегаю вперед, скажем, что именно их чаще всего имеют в виду россияне, говоря сегодня о коллективизме, причем независимо от того, считают они его самобытной особенностью своих соотечественников или нет, видят в нем ценное достояние народа и важный залог его успехов или, наоборот, препятствие на пути его исторического развития.

Из приведенной во введении таблицы видно, что коллективизм считает самобытным качеством российского народа половина всех опрошенных (51%). Следовательно, другая половина так не считает, что уже само по себе достаточно красноречиво свидетельствует о сомнительности представлений многих отечественных «экс-

пертов по народу» о его, народа, особенностях; во всяком случае, самоощущение значительной его части с этими представлениями не совпадает. Но нас сейчас больше интересуют люди, которые признают за своими соотечественниками такую особенность, как коллективизм, а точнее — те из них, кто видит в нем достояние народа, источник его успехов и залог его величия. Эти люди — для удобства будем в дальнейшем называть их *коллективистами* — составляют довольно значительную (38%) часть российского общества. Что же понимают они под коллективизмом?

Слово с невнятным смыслом

Мы предложили респондентам ответить на этот вопрос самим, не давая никаких подсказок. Выяснилось, что ответ им дается с большим трудом, что подобрать слова, расшифровывающие слово-символ, даже *коллективистам* очень непросто. Так, почти треть их состава (31%) вообще не смогла дать никакого ответа, а ровно столько же назвали совместную работу, что само по себе ничего самобытного, специфически российского в себе не несет. Лишь каждый седьмой расшифровал коллективизм как взаимопомощь и взаимовыручку, каждый семнадцатый — как дружеские отношения между людьми, каждый двадцатый — как объединение людей для достижения общей цели, столько же — как воплощение принципа «один за всех, все — за одного». За исключением этого принципа, целенаправленно внедрившегося в массовое сознание советской пропагандой, ничего уникального во всем перечисленном нет: в любой стране люди помогают друг другу, дружат и объединяются для решения общих задач. Интересно, что совместное проведение свободного времени, свойственное многим в советскую эпоху и действительно составляющее нашу особенность, назвали лишь единицы *коллективистов*. Значит, слово символизирует для них нечто более важное, чем досуг. Но что же именно кроме совместной работы? На этот вопрос, повторим, большинство из них ответить не может.

Не легче это сделать и тем, кто коллективизм отвергает, считая его помехой на пути исторического развития страны (опять-таки чисто условно назовем их *антиколлективистами*). И среди них каждый третий не смог расшифровать отторгаемое слово, а каждый четвертый расшифровал его как совместную работу, не думая, очевидно, о том, что такое толкование одинаково справедливо как для ЗИЛа, так и для заводов Форда. Нельзя сказать, что *антиколлективисты* вообще ничем не отличаются от *коллективистов*: часть из них подразумевает под коллективизмом пережиток социалистического прошлого (каждый двадцать пятый), «стадное чувство»

(каждый двадцатый), всеобщую уравниловку (тоже каждый двадцатый), а для кого-то он символизирует колхоз и жизнь как в колхозе (каждый семнадцатый). Но такие люди составляют здесь заведомое меньшинство. А это значит, что, говоря о коллективизме, придавая ему большое значение или, наоборот, отвергая его, наши респонденты чаще всего не имеют в виду что-то конкретное; наверное, это слово воспроизводит в их сознании некий обобщенный и достаточно расплывчатый образ прежней жизненной реальности, которая у одних вызывает теплые, а у других — неприятные воспоминания.

Однако, такое предположение, даже если оно не беспочвенно, равным счетом ничего не проясняет и не объясняет. Что включает в себя образ коллективного прошлого, каковы его экономические, политико-идеологические и другие составляющие? Можно ли вообще уловить этот образ, если в сознании самих респондентов он размыт?

Если и можно, то идти надо не прямым, а окольным путем. Учитывая, что в первую очередь нас интересуют *коллективисты*, попробуем выяснить, чем они отличаются от других людей не только по своим социально-демографическим характеристикам, но и по политическим и идеологическим воззрениям, отношению к советскому строю и постсоветской реальности, к Западу и западному образу жизни.

Почвенники или западники?

Если сравнивать их с теми, кто оценивает коллективизм отрицательно, то различия просматриваются вполне отчетливо. Среди *антиколлективистов* почти в три раза выше процент молодых людей до 25 лет и заметно меньше доля пожилых. Они несопоставимо решительнее в отторжении советского прошлого во всех его проявлениях и намного благожелательнее — в оценке постсоветского настоящего. В их среде гораздо отчетливее обнаруживает себя ориентация на западные стандарты потребления. Наконец, среди них более чем в три раза ниже процент сторонников компартии.

Однако *антиколлективистов* в российском обществе сравнительно немного — всего 7%, и они существенно отличаются по своим настроениям не только от *коллективистов*, но и от населения в целом. Но дело даже не в этом. Дело в том, что если искать мотивы положительной или отрицательной оценки коллективизма по принципу: его ниспровергатели — антисоветчики, антикоммунисты и приверженцы Запада, а его апологеты — сторонники возврата со-

ветского прошлого и антизападники, то мы ничего не найдем или найдем очень мало.

Потому что и у подавляющего большинства тех, кого мы условно назвали *коллективистами*, коллективизм не ассоциируется ни с советским режимом, ни с культивировавшимся при нем отношением к Западу. Только 21% из них хотел бы, чтобы Россия вернулась к социалистическому строю. Это больше, чем в среднем по населению (12%), но все равно слишком мало, чтобы говорить о склонности этой группы к коммунистическому реставраторству. Более двух третей ее представителей, будь у них возможность выбирать, предпочли бы, чтобы Россия развивалась в соответствии с одной из западных моделей, — здесь *коллективисты* почти не отличаются от населения в целом. Не выделяются они из общей массы и своими ответами на вопрос о том, хотели бы они жить, как живут люди на Западе, учитывая все достоинства и недостатки тамошней жизни: 52% представителей этой группы ответили «да» и заметно меньше (30%) — «нет». Так что в своих желаниях большинство из них — не почвенники, а самые настоящие западники. И еще одна цифра: 47% *коллективистов* — это даже больше, чем в среднем по населению — считают, что для выхода из кризиса россияне (а значит и они сами!) должны научиться жить и работать в условиях частной собственности и рыночной экономики.

Итак, благосклонное отношение к коллективизму не означает столь же благосклонного отношения к советскому режиму и вполне сочетается с реформаторскими ориентациями и симпатиями к западному образу жизни. Это уже само по себе чрезвычайно интересно. Ведь никакого другого коллективизма, кроме советского, нынешние поколения россиян не знают. А советский коллективизм утверждался именно коммунистическим режимом и был одним из краеугольных камней его идеологии. Получается, что прежнюю экономическую и политическую систему хотят оставить в прошлом, но **отношения между людьми**, существовавшие при той системе, выглядят привлекательно и их хотят сохранить. И отношения эти видятся совсем другими, чем на Западе, хотя жить хотят, «как на Западе»!

В самом деле: только 20% представителей интересующей нас группы считают, что коллективизм присущ и людям, живущим в западных странах, между тем как противоположной точки зрения придерживается в два раза больше людей. Правда, многие (таких 38%) затруднились ответить на этот вопрос. Таким образом, даже у значительной части *коллективистов* нет твердой уверенности в том, что Западу любая коллективная деятельность противопоказана. И понятно почему: ведь сегодня даже в спорте видно, что у россиян нет монополии на «командную игру», что в ней они не толь-

ко не превосходят своих зарубежных соперников, но часто и уступают им. Все это лишний раз свидетельствует о размытости образа российского коллективизма, как чего-то самобытно-уникального, принципиально отличающего нас от западных людей.

И, тем не менее, образ этот в сознании интересующей нас группы удерживается и сохраняет привлекательность. Так, две трети ее представителей полагают, что россияне достигают успехов в делах прежде всего благодаря присущему им коллективизму, под которым подразумевается единственно знакомый им советский образец. В этом не приходится сомневаться, так как 77% коллективистов убеждены в том, что коллективизм советского периода не был чем-то чужеродным и искусственным, а отвечал склонностям самих россиян.

Но если так, то мы пока не очень-то продвинулись в поиске ответов на занимающие нас вопросы. Что скрывается за такими настроениями? Что конкретно подразумевается под советским коллективизмом, отчлененном от культивировавшей его советской системы? И можно ли отчленить одно от другого? На эти вопросы тем более важно ответить, что и склонность приписывать успехи россиян их коллективизму, и убежденность в том, что его советский вариант был для них органичен, свойственны не только коллективистам, но и российскому обществу в целом. Разумеется, в значительно меньшей степени, но все же чуть больше половины населения с коллективистами в данном отношении солидарна.

Между «хочу» и «могу»

Отчленение природы коммунистического режима от существовавших при нем отношений между людьми дается нашим респондентам непросто. Полученные данные выявляют парадоксальность, гибридность самого образа советского коллективизма в сознании многих из них: с одной стороны, он «отвечал склонностям» и был главным источником жизненных успехов, с другой — был **принудительным** и обслуживал интересы не столько человека, сколько государства. Даже в интересующей нас группе, в которой воспоминания о «единодушно одобряющих» (решения партии и правительства) или «единодушно клеймящих» (врагов народа) собраниях и митингах несколько приглушены, 41% представителей считает, что советский коллективизм был больше выгоден государству, чем человеку, и почти столько же полагают, что он носил принудительный — со стороны государства — характер (среди населения в целом так думает около половины).

Однако 49% коллективистов никакой навязанности в советском

коллективизме не усматривают, а 42% из них уверены, что он был выгоден государству и человеку в равной степени (по населению в целом соответственно 37 и 34%). И нам ничего другого не остается, как предположить: в памяти этих людей (а большинство из них реанимировать коммунистический режим тоже не хотело бы) сохранился привлекательный для них образ некоего единого общенародного «мы», не расколотого на противостоящие друг другу группы, в котором отдельное «я» чувствовало себя достаточно комфортно, ощущало себя защищенным государством, а потому и не отделяло его интересов от своих. Вполне возможно, что в советское время эти люди так не думали и не чувствовали, что во многом это — их реакция на постсоветские общественные расколы и нынешнюю незащищенность человека. Но образ прошлого всегда зависит от того, как воспринимается и оценивается настоящее.

Ну, а что же те, кто считает советский коллективизм не добровольным, а принудительным, но при этом соответствующим склонностям россиян? Очевидно, они имеют в виду не склонность быть принуждаемыми, а то, что государство использовало коллективистскую психологию людей в своих интересах, причем, в таких формах, которые сами люди добровольно принять не согласились бы. И сохранить они хотели бы именно то, что свойственно народу, устранив искажения и извращения, принудительно насаждавшиеся государством. Но в чем же все-таки заключается этот свойственный народу коллективизм?

Скорее всего, он и в данном случае представляется людям в образе единого, нерасколотого общенародного «мы», только на этот раз существующего как бы независимо от государства и вопреки его диктату. Конечно, образ такого общенародного «мы» существует и в сознании француза, немца или американца; это — представление об общенациональных интересах и разделяемых всеми ценностях. Но им и в голову не придет называть это коллективизмом и считать его некоей своей самобытной особенностью. У нас же речь идет о другом.

Советский коллективизм был специфическим способом каждодневного проживания рядового человека. Принадлежность к «мы» и соблюдение правил, установленных государством (а правилом было — «быть как все», не высовываться, не выделяться из ряда), в значительной степени снимали с человека ответственность за собственную судьбу, гарантируя выживание и успешную карьеру. Коммунистическое государство, ликвидировав прежние общности людей и оставив каждого наедине только с властью, не могло обойтись без общностей новых, которые позволяли бы контролировать повседневную жизнь граждан. Ими и стали советские коллективы (прежде всего трудовые), монопольное право на создание кото-

рых принадлежало государству. Последнее легко делилось с ними частью других полномочий, могло разрешать им строить для своих работников жилые дома, детские сады и дома отдыха, брать на поруки нарушителей закона, получать продовольственные заказы и даже выбирать хозяйственных руководителей. Но оно до самого конца пыталось сохранить за собой право решать, кому и какую получать зарплату, назначать цены на любую продукцию и, разумеется, право создавать новые коллективы. Как только государство решило отказаться и от этого, позволив гражданам учреждать кооперативы, а предприятиям — продавать произведенное ими по свободным ценам, так сразу же начало рассыпаться и единое общегосударственное «мы»; между этим «мы» и «мы» трудовых коллективов открылась бездна неустрашимых противоречий.

Люди, испытывающие сегодня ностальгию по советскому коллективизму, скорее всего, имеют в виду непосредственно предшествовавшие этому распаду брежневские времена, когда государство пыталось совместить несовместимое: поддержание «монолитного единства» с предоставлением относительной автономии трудовым коллективам и ведомствам, в которые они входили, в решении повседневных проблем своих работников. Возможно, вовсе не случайно, что именно тогда, когда советский коллективизм предлагается соотнести с деятельностью и интересами советского **государства**, представители рассматриваемой нами группы оказываются ближе всего к расколу. Не исключено, что в глазах одних советский коллективизм символизирует в первую очередь прежнее общегосударственное «мы», а в глазах других — «мы» трудовых коллективов с его относительной независимостью от государства. Но и во втором случае образ скрепляющей отдельные производственные ячейки государственной общности скорее всего в сознании сохранился. Разумеется, это всего лишь предположение, нуждающееся в проверке, но предположение, как нам кажется, отнюдь не беспочвенное.

Ведь советское государственное «мы» означало, что государство берет на себя основную долю ответственности не только за стабильность, но и за развитие даже самых благополучных предприятий, не только за поддержание того, что есть, но и за улучшение жизни. Оно было **МОНОПОЛИСТОМ ИНИЦИАТИВЫ** (не только политической, но и хозяйственной), задавало единую для всего общественного хора мелодию, которую каждому в отдельности и всем вместе предстояло лишь добросовестно исполнять. Эта инициатива могла подаваться как почин конкретного трудового коллектива и даже как новаторское начинание отдельных людей, будь то Алексей Стаханов или Николай Злобин, но санкционироваться и проводиться в жизнь она могла только государством. Поэтому с

ним и только с ним связывались все надежды, но на него же возлагалась вина за то, если надежды не оправдывались. Соответственно этому и могли появляться *коллективисты*, которые вину государства усматривали в механическом диктате с его стороны над органически присущим россиянам коллективизмом. Это вовсе не значит, что они ставят под сомнение само государственное «мы». Это значит, что они не приемлют такого «мы», которое принудительно навязывается гражданам как нечто возвышающееся над их интересами и с ними не совпадающее.

О монополии советского государства на инициативу редко вспоминают, говоря о советском коллективизме, а между тем это очень многое позволяет понять в нынешней ностальгии по нему значительной части российского общества. Ведь сегодня, впервые за многие десятилетия, государство, задавая мелодию перемен, не требует быть «как все», а делает ставку на непохожесть, на выделение из ряда, на *личную* инициативу и предприимчивость, на свободу индивидуального выбора. И вот к этому оказались не готовы ни само государство (оно пока не обнаружило в себе способности обеспечить равные для всех правила игры, то есть соблюдение им же установленных законов), ни многие граждане, даже если они не хотят возвращения прошлых порядков и выступают за перемены. Они не против западных стандартов потребления и капитализма вообще, но они хотели бы двигаться к нему *общим строем*, по единой для всех программе, добровольное следование которой улучшало бы их индивидуальное существование. Это, кстати, вполне соответствует предложенной в анкете расшифровке коллективизма, как «склонности россиян решать большинство жизненных проблем сообща, а не индивидуально». Но строем можно маршировать только к коммунизму, да и то по пути этот строй, как мы теперь знаем, неизбежно рассыпается. Единой для всех и каждого программы строительства капитализма еще нигде не придумали, она у каждого может быть только своя собственная.

Привыкнуть к этому трудно даже многим убежденным антикоммунистам. Поэтому они и считают благом для страны такой способ программирования жизни, как советский коллективизм, идеализируя его в целом или очищая от прежней коммунистической принудительности. Под коллективизмом же они подразумевают нечто такое, что позволит им улучшить свою *частную* жизнь, ухудшение которой по сравнению с советскими временами *коллективисты* ощущают острее, чем многие другие. Так, 53% их представителей считают, что в советский период у человека было больше возможностей найти свое место в жизни, проявить свои способности, и только 28% полагают, что таких возможностей стало больше сейчас. Эта особенность жизнеощущения рельефно проявляется на

фоне настроений *антиколлективистов*, среди которых 50% отдают предпочтение постсоветской повседневности и только 28% — советской. Но *коллективисты* выделяются и из общей массы населения (соответственно 42 и 35%).

Если вспомнить, что советский политический режим и экономический строй подавляющее большинство представителей интересующей нас группы реанимировать не хочет, то социально-психологическая природа нынешней ностальгии по коллективизму станет еще более очевидной. Общий строй, в котором люди рассчитывают получить свое место, воспринимается с точки зрения достижения не столько общих, сколько собственных целей, с точки зрения индивидуального самоутверждения. Отсюда следует, что сам этот строй видится отнюдь не солдатским, он, похоже, не ассоциируется даже с идеологической и прочей дисциплиной брежневских времен, не говоря уже о сталинских. Он воспринимается строем, для которого команды «смирно!» не существует, за разговорчики в котором не только не наказывают, но и не журят, строем, где можно чувствовать себя вполне свободно и независимо. Если так, то понятнее становится и то, почему нашим респондентам так трудно далась расшифровка слова «коллективизм». Нынешние возможности для индивидуального самоутверждения кажутся меньшими, чем в советский период, но тогда не было экономических и политических свобод, отказываться от которых не хочется, зато был «общий строй», который неплохо бы восстановить, но для движения не в прежнем (социалистическом), а в западном (капиталистическом) направлении. Люди хотят советского коллективизма без советской власти. Однако такое желание и осуществить, и даже выразить словами действительно не просто.

Но почему все-таки сегодняшние возможности для индивидуального самоутверждения кажутся более ограниченными, чем в советские времена? Почему, скажем, люди, месяцами не получая зарплату, не меняют место работы? Это можно было бы понять, если бы речь шла только о том, что новую работу по специальности, а то и какую-либо работу вообще сегодня найти не всегда просто. Разумеется, многие *коллективисты* такие причины называют. Вместе с тем почти половина их состава (46%) ссылается на привычку людей к трудовому коллективу и нежелание с ним расставаться (в среднем по населению — 38%). Почему же люди держатся за свою привычку? Предполагается, быть может, что они рассчитывают на помощь и поддержку коллектива в тех трудных обстоятельствах, в которых они оказались? Но в том-то все и дело, что сейчас такой поддержки почти никто не ждет!

Мы спрашивали: на чью помощь Вы можете рассчитывать в первую очередь в трудных жизненных обстоятельствах? Лишь 3% *кол-*

лективистов назвали трудовой коллектив — они ничем в данном отношении не отличаются от населения в целом. Но тогда нам опять-таки остается лишь предположить: привычка к сослуживцам и нежелание с ними расставаться соотносится с надеждой не на «мы» трудового коллектива, а на «мы» общегосударственное. Тут — осознанный или неосознанный расчет на то, что только государство может вывести и выведет предприятие из простоя, что в беде оно может бросить одного, но целые коллективы — не бросит. Представители рассматриваемой группы склонны верить в это «мы» и надеяться на него в том числе и потому, что сами сильнее других ощущают свою к нему причастность.

Чувство причастности к какой-либо общности — это сочетание надежды на нее с преданностью ей. И не удивительно, что *коллективисты* заметно чаще, чем другие, заявляют о привлекательности для них такой особенности россиян, как преданность государству, готовность подчинять его интересам интересы личные. Об этом говорят 46% их представителей, что в полтора раза больше, чем в среднем по населению.

Конечно, 46% — это еще не все и даже не большинство. К тому же преданность государству, как мы в своем месте покажем, вовсе не обязательно воспринимается в привычном по советским временам значении. Все это лишний раз подтверждает наше предположение о размытости образа коллективного «мы» даже в сознании наших *коллективистов*, его несводимости к «мы» коммунистической эпохи и, вместе с тем, об отсутствии осознанной альтернативы ему. Но запрос на такую альтернативу существует, и мы попытались его зафиксировать и хотя бы в первом приближении уловить его жизненный смысл. Не хочу бедности, хочу жить, как живут на Западе, но не уверен, что могу добиться этого сам, а потому хочу, чтобы меня вели, хочу идти не один, а вместе со всеми, — вот что скрывается, повторим, за сегодняшними коллективистскими надеждами.

Меньше всего мы хотели бы винить этих людей за то, что они такие, а не другие, и закрывать глаза на те нередко вопиюще-ненормальные обстоятельства, в которых многие из них сегодня оказались. Единственная наша задача — понять, почему они оглядываются назад и ищут точки опоры в прошлом, в целом его, как правило, отвергая.

Показательно, что *коллективисты* — еще одно свидетельство разрыва в их сознании между «хочу» и «могу»! — чаще других отмечают, что для улучшения материального положения своей семьи они ничего сегодня предпринять не в состоянии; таких в этой группе 51% при 42% по населению в целом и 31% среди *антиколлективистов*. Показательно также, что последние в гораздо меньшей

степени привержены и к традиционному стереотипу, согласно которому россияне достигают успехов прежде всего благодаря своему коллективизму, — доля людей, думающих так, в их среде почти в два раза меньше, чем среди *коллективистов*. Правда, и здесь таких немало (36%), а это значит, что сами успехи, достигнутые страной в советский период, могут не отрицаться, но восприниматься как **не те** успехи, к которым нужно стремиться, достигнутые **не в тех** областях, которые важны для людей, и **не той** ценой, которую допустимо платить.

Коллективизм и политическое поведение

Но вернемся к нашим *коллективистам*. Разрыв, существующий в сознании многих из них между «хочу» и «могу», сопровождается и таким своеобразным явлением, как взаимное наложение и переплетение западничества и антизападничества. Среди *коллективистов* преобладают западники, когда речь идет о «хочу». Но так как это «хочу» не осуществляется или кажется неосуществимым вообще, то многие склонны искать причину в том, что власти, проводя реформы, следуют рецептам западных политиков и специалистов, не считаясь с национальными особенностями России и ее народа, — не в последнюю очередь, как можно предположить, с присущим ему коллективизмом. Так считают 49% «коллективистов» (при 37% по населению в целом).

Это переплетение западничества (в понимании целей) с антизападничеством (в представлении об используемых в сегодняшней России средствах), равно как и причудливое соединение реформаторских настроений с приверженностью советским традициям, приводит к тому, что политически эта группа не только не монолитна, но и расколота: перед первым туром президентских выборов, когда проводился наш опрос, 27% ее общей численности собирались голосовать за Б. Ельцина и 28% — за Г. Зюганова. Если учесть, что первое слово *коллективизм* предпочитает не употреблять, а для второго оно — одно из ключевых, то можно сделать вывод: сколько-нибудь значительным консолидирующим потенциалом эта ценность сегодня не обладает.

Более того, нет также никаких серьезных оснований считать, что коллективизм вообще является осознанной жизненной ценностью для большинства тех, кто декларирует благосклонное к нему отношение. Это — след, оставшийся в сознании от минувшей эпохи, полностью реанимировать которую, как правило, не хотят, но ищут в ней нечто такое, что можно было бы использовать, чтобы быстрее и безболезненнее двинуться к тому образу жизни, идеал кото-

рого видят чаще всего не в советском прошлом, а в западном настоящем. Поэтому уже одно название компартии многих *коллективистов*, судя по всему, отпугивает, и ее заявления о приверженности коллективистским ценностям в этом отношении мало что могут изменить.

Не сложился в массовом сознании и образ какого-то другого, нового, не коммунистического коллективизма. Не находят, в частности, сколько-нибудь массового заинтересованного отклика идеи и практика самоуправления Святослава Федорова. Судя по тому, что за его партию на парламентских выборах 1995 года проголосовали, по нашим данным, всего 2% *коллективистов* (это даже меньше, чем в среднем по населению), предлагаемая им модель не воспринимается как пригодная для страны в целом. Не пользуется популярностью в интересующей нас группе и идея сплочения русского народа на этнической основе: заменить прежнее интернациональное «мы» национальным хотели бы 16% ее представителей; в данном отношении она ничем на общем фоне не выделяется. Коллективизм «почвы», вопреки упованиям отечественных почвенников, успел расшататься, а коллективизм «крови», вопреки надеждам наших радикал-националистов, по недоразумению считающих себя почвенниками, в России до сих пор вообще не имел глубокой и устойчивой традиции, и пока нет достаточных оснований говорить о том, что она формируется в наши дни.

И все же мы не можем с полной уверенностью утверждать, что почвеннический коллективизм с его доминированием государственной общности над частным лицом в России исторически исчерпан. Да, коллективизм не воспринимается сегодня как солидарность в бедности, да, такие представления расшатаны ориентацией на западные потребительские стандарты и западный («индивидуалистический») образ жизни, да, его антизападническое острие притупилось. Это значит, что существующие в обществе коллективистские настроения могут свидетельствовать о запросе (не обязательно осознанном) на западную социал-демократическую модель развития с присущей ей идеологией солидарности и сильной государственной социальной политикой. Однако такую модель (не важно, под каким названием) надо еще создать и приспособить к условиям российского постсоветского общества. Если же создать ее не удастся, то солидарность в бедности может снова стать для многих важной жизненной ценностью, — для этого достаточно, чтобы бедность начала восприниматься как безысходная. И тогда снова может возникнуть спрос на государство (пусть и не коммунистическое, а какое-то другое), солидарное с бедными и только с ними, принуждающее всех остальных к «коллективизму» и требующее по отношению к себе безоговорочной преданности.

Такой коллективизм неизбежно влечет за собой **выравнивание** людей в бедности. Он предполагает также, что государство берет на себя обязанность складывать все произведенное народом в один общий котел и делить национальное достояние на примерно одинаковые части. А это, в свою очередь, предполагает укорененность в сознании людей уравнительной версии **справедливости**. Поэтому, чтобы лучше представить себе возможные перспективы распространения в российском обществе идеологии казарменного коллективизма, попробуем выяснить, как соотносятся сегодня (и соотносятся ли вообще) в представлениях россиян ценность коллективизма и ценность справедливости, понимаемой в почвеннически-уравнительном духе.

Сразу скажем, что симптомы такой связи просматриваются достаточно отчетливо: благосклонное отношение к данной версии справедливости выразили 37% *коллективистов*. Можно, конечно, сказать, что это не очень много. Но это, тем не менее, почти в два раза больше, чем в среднем по населению.

Справедливость и равенство

Коммунистический режим рухнул в Советском Союзе не в последнюю очередь потому, что не сумел обеспечить практическую реализацию одного из главных своих постулатов, не смог провести в жизнь провозглашенный им лозунг социальной справедливости. Несмотря на колоссальные пропагандистские усилия, властям так и не удалось укоренить в массовом сознании представление о социализме, как более справедливом, по сравнению с капитализмом, строе. Этому препятствовали, по меньшей мере, три обстоятельства.

Во-первых, люди постепенно приходили к мысли (благодаря зарубежным фильмам, радиоголосам и рассказам побывавших за границей), что на Западе, где царят эксплуатация и несправедливость, простому человеку живется не хуже, а лучше, чем в Советском Союзе.

Во-вторых, с годами становилась достоянием широких слоев населения тщательно скрываемая информация о привилегиях партийно-государственных чиновников.

В-третьих, рост значимости интеллектуального труда и численности соответствующих категорий работников делал все более нелепым в их глазах искусственное приравнивание сложного труда к простому, квалифицированного — к неквалифицированному, высокообразованных специалистов — к «рабочим и крестьянам», наделенным если и не монопольным, то преимущественным правом называться народом.

Взаимоналожение этих трех обстоятельств привело к тому, что советский режим стал восприниматься нарушителем собственных принципов. С одной стороны, он выглядел отступником от идеи социальной справедливости (привилегии номенклатуры), с другой — от идеи оплаты труда в соответствии с его количеством и качеством. Поэтому и в борьбе с коммунизмом причудливо переплелись разные и в чем-то взаимоисключающие друг друга представления о справедливости: она выступала лозунгом протеста против советского нелегального неравенства, но одновременно и лозунгом легализации неравенства, понимаемого принципиально иначе. Это важно иметь в виду, когда мы говорим о перспективах распространения уравнилельно-почвеннической версии справедливости в постсоветской России.

Но надо учитывать и другое. Антикоммунистическая политическая революция, сопровождавшаяся легализацией неравенства, не

только не ликвидировала его нелегально-криминальные корни, но и позволила им разрастись каквширь, так и вглубь. Не принесла она удовлетворения и многим из тех, кто надеялся, что отмена искусственного усреднения доходов позволит им воспользоваться своими преимуществами в образовании и квалификации. Может ли такое развитие событий, учитывая общинно-уравнительные традиции России, во многом обусловившие сползание страны с пути столыпинских реформ и подтолкнувшие ее в сторону коммунизма, привести к возрождению почвеннических представлений о справедливости, к широкому распространению идеи нового «черного передела» собственности? Насколько сохранились эти традиции в народе и можно ли обнаружить их следы в сегодняшних настроениях людей?

Выяснить это нам как раз и помогут данные о восприятии россиянами почвеннической версии справедливости, расшифрованной в анкете как «стремление людей к обществу, где нет значительных различий в уровне доходов».

Конец утопии

Из таблицы, приведенной во введении, видно, что такое понимание справедливости считает самобытной особенностью россиян 41% опрошенных. Таким образом, уравнительная версия этой ценности еще в меньшей степени, чем почвенническая интерпретация коллективизма, соответствует сегодняшним представлениям народа о самом себе; в глазах большинства людей она не выглядит укорененной. Но и среди тех, кто считает ее созвучной русской душе, лишь около половины (21% от общей численности населения), оценивают ее положительно. Таких людей (назовем их условно *уравнителями*) почти в два раза меньше, чем *коллективистов*. Правда, и убежденных *антиуравнителей*, оценивающих почвенническую версию справедливости отрицательно, среди опрошенных тоже оказалось сравнительно немного (13%). Но их все же почти в два раза больше, чем *антиколлективистов*.

Эти данные позволяют утверждать: положительная оценка коллективизма отнюдь не всегда свидетельствует о предрасположенности к уравнительному распределению и перераспределению национального богатства; одно с другим очень часто никак не соотносится. Мы можем утверждать также, что отрицательная реакция на уравнительность проявляется сегодня несколько острее, чем реакция на коллективизм. Объясняется это просто: у коллективизма больше сторонников и меньше противников, а у справедливости, соответственно, наоборот, потому что вторая вызывает

больше политических, идеологических и других ассоциаций с советским прошлым. Особенно отчетливо просматривается это среди *антиуравнителей* — они еще категоричнее, чем *антиколлективисты*, выступают против возвращения к советским порядкам в любых их проявлениях, еще ярче демонстрируют свою реформаторскую ориентацию, в том числе и на выборах, а также свое стремление к западным стандартам потребления и западному образу жизни. Понятно и то, почему среди них еще ниже, чем в составе *антиколлективистов*, процент пожилых людей и выше средний уровень образования, — ведь советскую уравнительность острее других переживали молодые и образованные.

Но нас все же в первую очередь интересуют не они. Нас интересуют, прежде всего, те, кто высоко оценил почвенническую версию справедливости, и кого мы условно назвали *уравнителями*. Мы выяснили, что их значительно меньше, чем *коллективистов*. В то же время мы знаем, что в составе *коллективистов* — повышенный процент *уравнителей*, а в составе последних, добавим, *коллективисты* составляют явное большинство; их здесь ровно две трети. Поэтому анализ жизненных ориентаций и настроений *уравнителей* поможет нам лучше понять, насколько сам коллективизм толкуется его приверженцами в духе уравнительного распределения и перераспределения, то есть в том смысле, что есть некий коллективный результат общенародного труда, который подлежит «справедливому» разделу на примерно равные части в соответствии с численностью работников.

Можем смело утверждать: такое толкование сегодня почти не просматривается. Более того, выясняется нечто совершенно удивительное: люди, придающие столь большое значение уравнительной справедливости, не верят, как правило, в саму возможность уравнительного распределения! Мы спрашивали: верите ли вы, что возможно существование общества без бедных и богатых, в котором достаток людей примерно одинаков? На этот вопрос только 25% *уравнителей* ответили «да», между тем как 67% дали отрицательный ответ. Эти цифры несколько отличаются от данных по населению в целом (соответственно 15 и 75%), но и они достаточно красноречивы и заставляют нас еще раз указать на условность самого термина *уравнители* по отношению к интересующей нас группе.

Такого рода несоответствия и несообразности кажутся нам чрезвычайно существенными. Они могут свидетельствовать о том, что жизненный смысл, который люди хотят выразить старыми привычными словами, не совпадает или совпадает не полностью с тем смыслом, который вкладывался в них в советские или досоветские времена. Словесная оболочка прежняя, ею продолжают

пользоваться, но наполнявшее ее содержание, похоже, отмирает. Разве благосклонно-сочувственное отношение к самобытно-российскому идеалу уравнительной справедливости как к ценному народному достоянию при утрате **собственной веры** в нее не говорит о том, что даже относительно немногочисленными ее почитателями она воспринимается не как актуально-жизненная, а в чем-то уже как музейная ценность? Но если так, то в чем именно?

Уравнительная справедливость — это всегда «небесный идеал»; здесь современные отечественные почвенники, безусловно, правы. Правы они и в том, что в прошлом Россия обнаруживала повышенную склонность воодушевляться таким идеалом, верить в возможность его земного воплощения. Однако полученные нами данные народной экспертизы однозначно свидетельствуют: сегодня подавляющее большинство народа такой веры в себе не обнаруживает. А это, в свою очередь, означает, что идея справедливости утратила свою **утопическую** окраску даже в том случае, когда люди по самым разным причинам продолжают понимать ее в духе уравнительности. Это означает также, что даже в таком понимании она не может сегодня воплотиться в очередную мечту об идеальном обществе, о царстве Божьем на земле, где все проблемы решаются сами собой.

Российское общество выросло из пеленок старого утопического сознания, когда вера в идеальный строй и его жрецов заменяет неверие в собственные силы и индивидуальную заботу о собственном благополучии. Человек с таким сознанием сосредоточен на своей зависимости от неблагоприятных внешних обстоятельств, с устранением которых он и связывает в первую очередь торжество справедливости, то есть изменение и улучшение своей жизни. Наше исследование показало: постсоветский человек, как правило, не таков. Достаточно отметить, что даже среди *уравнителей* лишь каждый четвертый считает, что его жизнь зависит главным образом от внешних обстоятельств; большинство же склоняется к мысли, что она зависит от собственных усилий (27%) или от собственных усилий и внешних обстоятельств в равной степени (46%). И в этом отношении наши *уравнители* ничем не выделяются из общей массы населения.

Размывание утопического сознания — прямое следствие разочарования в революционной коммунистической утопии и ее практическом воплощении. Правда, в интересующей нас группе процент избежавших разочарования несколько выше, чем среди населения в целом, но и здесь они составляют заведомое меньшинство. Так, 30% *уравнителей* (при 19% в среднем по населению) благосклонно относятся к идее строительства коммунизма, провозглашенной большевиками в 1917 году. Однако больше среди

них все же тех, кто усматривает в этом историческую ошибку, — таких в их составе 43% при 48% среди населения в целом. Еще сдержаннее относятся они к опыту реализации данной идеи и достигнутым результатам: желание вернуться к социалистическому строю испытывают 23% *уравнителей* (при 12% по населению в целом). И уж совсем мало своеобразия обнаруживают *уравнители* в своем отношении к Западу: 63% их представителей предпочли бы, чтобы Россия развивалась в соответствии с одной из западных моделей, а 48% сами хотели бы жить так, как живет сегодня большинство людей в западных странах.

Интересно, что во всем этом интересующая нас группа почти не отличается от *коллективистов* (доля просоветски и антизападно настроенных людей в ней больше, но разница не превышает 5%). Поэтому даже если бы все приверженцы коллективизма стали одновременно и *уравнителями*, то это не привело бы к широкому распространению в их среде реставраторских или антизападных настроений. Вряд ли воодушевятся они идеей очередного «черного передела» собственности во имя всеобщего и одинакового для всех счастья — ведь и *уравнители* сегодня об этом не очень-то помышляют.

Они могут голосовать за компартию и ее лидера, и они делают это несколько чаще, чем *коллективисты* (перед первым туром президентских выборов в их составе было 30% зюгановцев при 22% ельцинцев), но далеко не все *уравнители*, отдающие предпочтение коммунистам, опускают избирательные бюллетени с надеждой на земное воплощение неземных идеалов. Смешивать земное с небесным, освещать материально-прозаические повседневные заботы светом вселенской идеи в России остается все меньше охотников.

Когда-то отечественные мыслители, с горечью размышляя о случившемся со страной в 1917 году, указывали на всеразлагающее лицемерие, которым неизбежно сопровождаются «освящение низменно-корыстных мотивов моральным пафосом благородства и бескорыстия» (С. Франк) и подмена идеала справедливости «простым чувством зависти» (С. Котляревский). В этой склонности поднимать сугубо материальные заботы и притязания народа до уровня великих идей они винили, прежде всего, русскую революционную интеллигенцию, но они отдавали себе отчет и в отзывчивости к ее идейной проповеди тогдашнего народного сознания. И вот теперь, после долгих десятилетий идеологических самообманов, сопутствовавшего им лицемерия и сопутствовавших лицемерию разочарований россияне не обнаруживают в себе былой предрасположенности превращать земное в неземное. Ее, повторим, не обнаруживает даже большинство тех, кто с похвалой

отзывается о самобытном стремлении своих соотечественников к «обществу, где нет существенных различий в уровне доходов».

Но в чем же тогда смысл и пафос их убежденности в наличии у нас столь самобытно-ценного стремления?

От уравнительности к равенству возможностей

Представления людей о справедливости — один из самых точных индикаторов, фиксирующий приемлемые для общества границы равенства и неравенства (экономического, политического, этнического и любого другого) и чутко улавливающий смены массовых настроений в пользу их изменения. Если относительно этих границ не достигнуто согласие большинства граждан или не обеспечена их (границ) ненарушаемость, то о здоровом развитии общественного организма говорить не приходится. Если этого нет, то нет сплоченной общими ценностями нации, нет устойчивого государства, без этого общество не может стать гражданским. Конечно, наши *уравнители*, составляющие меньшинство населения, не выражают общепризнанных представлений о границах равенства и неравенства. Но ведь общепризнанные пока не успели сложиться, а те, которые успели, сплошь и рядом попираются, даже будучи узаконенными. Не беремся судить, какими они будут, когда сложатся, но что самобытно-почвенническими они скорее всего не будут, можно говорить вполне определенно. И именно потому, что даже *уравнителями* почвенническая версия справедливости в значительной степени уже изжита.

Дело не только в распаде старого утопического мировосприятия, о чем было достаточно сказано. И даже не только в том, что в сознании *уравнителей*, как ни у кого, все спуталось и смешалось, в результате чего многие из них выглядят настолько же почвенниками, насколько и западниками. Дело еще и в том, что в их симпатиях к уравнительной справедливости при всем желании невозможно обнаружить романтизацию равенства ради равенства. Поддерживая самобытное стремление россиян к обществу без значительных различий в уровне доходов, они руководствуются желанием поднять этот уровень, а не жадной выровнять его, каким бы он ни был, пусть даже нищенским. Другой вопрос, какие жизненные стандарты они считают приемлемыми для себя и хотели бы распространить на других, — этим, как мы ниже увидим, они действительно выделяются из общей массы населения. Но — только этим.

Уравнители острее других реагируют на постсоветскую повседневную реальность с ее чрезмерными разрывами в доходах при их

чрезмерно низком у большинства людей уровне. Парадоксальным образом получается так, что симпатии к уравнительной справедливости в постсоветской России означают, с одной стороны, протест против **неравенства** (в распределении общественного богатства), а с другой — против **равенства** (в бедности). В том и другом отношении нынешнее российское общество выглядит менее справедливым и в сопоставлении с западным, и по сравнению с советским. Причем не только в глазах *уравнителей*, но и более широких слоев населения. Так, 56% представителей интересующей нас группы (в среднем по населению — 60%) считают, что в странах Запада сегодня больше справедливости, чем в России, а 50% полагают, что справедливости было больше в советское время, чем сейчас; противоположной точки зрения придерживаются всего 5% *уравнителей* (по населению в целом соответственно 40 и 9%).

В данном случае нам важно не столько то, что *уравнители* выглядят несколько сдержаннее в своем западничестве и определеннее в своей «советскости», сколько довольно слабая проявленность их отличий от других. Речь идет о достаточно широко распространенном восприятии постсоветской повседневности, но у *уравнителей* оно обнаруживает себя несколько ярче и рельефнее, чем в обществе в целом, а потому именно их умонастроения позволяют лучше понять природу самого такого восприятия. В чем же видят они преимущество западной и, что еще важнее, советской повседневности перед нынешней?

Трудно представить себе, что западная и советская реальность выглядит в их глазах воплощением идеала равных доходов, что они ничего не слышали об американских миллиардерах или о привилегиях коммунистической бюрократии. Скорее всего, они имеют в виду относительное равенство достатка внутри **большинства** населения при более или менее высоком уровне этого достатка. Но что же в понимаемой так справедливости самобытно-почвеннического? Пожалуй, ничего, кроме привычного словесного обрамления.

Впрочем, тут не обойтись без оговорки. Все-таки это разные вещи: уровень благосостояния большинства людей на Западе и большинства советских людей даже в самый благополучный брежневский период. Не исключено, что многие *уравнители* рассматривают коммунистическое прошлое не как антипод, а как приемлемый для них **аналог** западного настоящего. Показательно, что в своих представлениях об образцах благосостояния эта группа раскалывается примерно пополам: 47% ее представителей хотели бы иметь современный западный уровень жизни, а 42% готовы удовлетвориться тем, что большинство населения имело во времена Брежнева (соответствующие данные по населению в целом — 58 и 29% — заметно отличаются).

Мы не знаем, чем в первую очередь привлекает *уравнителей* эпоха развитого социализма, пытавшегося воплотиться в самобытно-социалистический вариант общества массового потребления, — усреднением доходов или их более высоким, по сравнению с нынешними временами, уровнем. Но у нас есть основания предполагать, что в памяти если и не всех, то многих *уравнителей* позднесоветское общество сохранилось как общество более или менее **равных возможностей**, использование которых зависело от индивидуальных усилий. Не исключено, что именно в этом и видится представителям рассматриваемой группы преимущество советской реальности перед постсоветской.

Такое предположение оправдано хотя бы потому, что в брежневский период немало людей могли равнодушно и даже негативно относиться к декларируемым властями общим для всех коммунистическим целям и перспективам, но при этом использовать определенные возможности (легальные и нелегальные) для строительства коммунизма или, на худой конец, развитого социализма в отдельно взятых квартирах, то есть не для всех, а для себя и своей семьи. Приспособиться же к строительству капитализма многим из тех людей удастся хуже, а у наших *уравнителей* сказывается еще и возраст — 55% их представителей старше 45 лет, что даже больше, чем среди *коллективистов*, не говоря уже о населении в целом.

Не удивительно, что большинство *уравнителей* одновременно и *коллективисты*: идея единого общегосударственного «мы» и «общего строя» не может не вызывать их симпатий. Но, как и *коллективистам*, «общий строй» видится им не чем-то таким, что имеет самодовлеющую ценность, возвышающуюся над отдельным человеком и всецело его себе подчиняющую, а удобным местом для решения личных проблем, местом, где выравниваются (и тем самым увеличиваются!) возможности для индивидуального самоутверждения. Исходя из этого, они и оценивают советскую повседневность, фиксируя ее преимущества перед постсоветской. Только 25% *уравнителей* считают, что таких возможностей для проявления индивидуальных способностей сейчас стало больше, чем в советскую эпоху, в то время как 57% отдадут тем временам предпочтение. Вспомнив соответствующие показатели по населению в целом (35 и 42%) мы сможем приблизиться к пониманию не только специфической природы нынешнего спроса на уравнительную справедливость, но и причин ограниченности этого спроса.

Он потому и ограничен, что многие люди, воспринимающие, подобно *уравнителям*, нынешнюю имущественную поляризацию как несправедливость, удерживаются, в отличие от *уравнителей*, от подмены понятий, когда протест против неравенства возможнос-

тей для индивидуальной самореализации выражается в словах и формулировках, исключающих богатство вообще. Похоже, в сознании *уравнителей* смазывается смысловая разница между неприятием чрезмерного разрыва в доходах при бедности большинства населения и неприятием богатства как такового, независимо от уровня благосостояния этого большинства. Однако смазывается она не в последнюю очередь именно потому, что они острее других реагируют на нынешнюю практику бесконтрольно-криминального обогащения немногих. Они не против различий в доходах, даже существенных, но они отвергают неравенство условий для достижения личного успеха. Мы можем судить об этом не только на основании приведенных выше данных об отторжении подавляющим большинством представителей интересующей нас группы уравнительно-перераспределительной утопии. Мы можем утверждать это, ибо располагаем их ответами на прямой вопрос о том, как именно они понимают справедливость, какой конкретный смысл в нее вкладывают.

Выясняется, что только 19% *уравнителей* понимают ее в духе идеологов казарменного коммунизма, то есть в том смысле, что все люди должны иметь примерно одинаковый достаток. Заметно больше (34%) представителей рассматриваемой группы вкладывают в эту ценность смысл, формально совпадающий с либерально-западническим ее толкованием; справедливым они считают лишь такое положение вещей, когда достаток людей находится в прямой зависимости только от их способностей, инициативы и деловых качеств. Скорее всего эта часть опрошенных, сама того, быть может, не сознавая, реагируют не столько на либеральность, сколько на **недостаточную** либеральность нынешнего социально-экономического курса, при котором многие не видят никакой связи между благосостоянием и способностями опять-таки потому, что не находят равенства условий для индивидуального самоутверждения. И, наконец, 41% *уравнителей* склоняются к версии справедливости, которую условно можно назвать социал-демократической. Они полагают, что достаток человека должен находиться в прямой зависимости от его способностей, инициативы, деловых качеств, но при этом богатые должны делиться с бедными. Возможно, эта часть людей отдает себе отчет в том, что само по себе равенство возможностей, не скорректированное целенаправленной социальной политикой государства, может обречь многочисленные слои населения на незавидное существование.

Разумеется, говоря о либерализме и социал-демократизме *уравнителей*, нельзя забывать: их представления о справедливости во многом навеяны воспоминаниями о единственно знакомом им советском опыте. Но важнее, быть может, другое: из этого опы-

та они черпают не идеалы казарменной уравнительности, а представления о зависимости достатка от индивидуальных способностей и о сильной государственной социальной политике. А это значит, что в наследство от коммунистического периода нам досталось не только то, что мешает укоренению западных принципов организации социально-экономической жизни, но и то, что ему способствует. Это, в свою очередь, означает, что нет никакой необходимости объявлять советскую эпоху черной дырой истории, перечеркивая тем самым жизнь и судьбу нескольких поколений. Разрыв с прошлым вполне сочетаем с сохранением преемственной связи с ним, на которую ни у кого, в том числе и у нынешних почвенников, нет монопольного права. У каждого из нас есть лишь право выбирать в прошлом то, что соответствует нашему представлению о будущем, и отвергать то, что кажется исчерпанным. Но и в этом выборе мы не так свободны, как многим, быть может, хотелось бы. Приходится считаться еще и с тем, что называется желанием и мнением народным. Тем более, когда речь идет о таких основополагающих ценностях, как справедливость.

Если учесть, что своими ответами на вопрос о содержании этой ценности *уравнители* почти не отличаются от населения в целом, то можно сделать вывод: в сегодняшней России нет никакой почвы для мобилизации общества под лозунгами уравнительной справедливости и уравнительно-казарменного коллективизма, под лозунгами революционного «черного передела». Почвеннические версии коллективизма и справедливости воспринимаются не столько как антиподы индивидуализма, сколько как компенсаторы его несамодостаточности. А это означает, что в стране есть запрос на такое упорядочивание жизни, которое предполагает сочетание либеральной и социал-демократической экономической политики, когда и современный российский индивидуализм принимался бы в расчет, и его подростковая слабость не игнорировалась. Подчеркиваем: не чередование, а именно сочетание, обеспечить которое непросто хотя бы потому, что мировой исторический опыт в данном отношении не очень богатый, а аналогов такого сочетания в условиях, схожих с нынешними российскими, и вовсе не существует.

Неудачи же и срывы на этом пути (а их нельзя исключать) могут провоцировать покушение на политические и прочие свободы и попытки свернуть их в расчете на то, что в народе до сих пор преобладает почвенническое представление, согласно которому индивидуальная свобода в России несовместима не только со справедливостью, но и с общественным порядком в широком смысле слова. Однако так ли это на самом деле?

Порядок и свобода

Лозунг наведения порядка лишен сегодня какой-либо партийной окраски, он никем не оспаривается и всеми принимается — от крайне правых до крайне левых. Но это внешнее единодушие различных политических сил и лидеров лишь затушевывает до поры до времени коренной вопрос о **типе** порядка, который «пора навести», и типе политического режима, который это сможет сделать в современной России.

Постсоветский беспорядок — следствие постсоветской свободы, ставшей свободой криминального беспредела. Можно ли устранить этот беспредел, сохранив свободы, прежде всего политические? Порядок вместе со свободой или вместо свободы — вот выбор, перед которым в очередной раз оказалось российское общество, и от него самого, а не только от политиков, во многом зависит, каков этот выбор будет. Какого же порядка хотят сегодня сами россияне?

Учитывая, что до последнего времени Россия знала лишь порядок без свободы и что сегодня за последнюю приходится платить общей неупорядоченностью жизни, мы попробовали выяснить, насколько совместимы эти две ценности в сознании россиян и совместимы ли вообще. Считают ли они формулу «порядок без свободы» формулой российской самобытности? А если считают, то хотят ли они и впредь подчиняться ей, хотят ли, чтобы развороченная жизнь была упорядочена в соответствии именно с этой формулой?

Мы исходили из простой посылки: в ситуации, когда порядок и свобода наглядно демонстрируют свою слабую совместимость, отторжение свободы означает признание ее **менее значимой**, по сравнению с порядком, ценностью. Этим мы руководствовались, составляя анкету и предлагая нашим респондентам ответить, включают ли они в число самобытных особенностей россиян их склонность ставить порядок в стране выше политических свобод, и если включают, то как эту особенность оценивают.

Но прежде чем анализировать полученные ответы, приведем некоторые данные, характеризующие отношение к порядку и свободе российского общества в целом. Это важно сделать, так как группа респондентов, ставящая порядок выше свободы (а она-то и будет интересовать нас в первую очередь), очень немногочисленна; поэтому есть смысл рассмотреть сначала тот общий контекст, в котором она находится. Итак, насколько же важны сегодня для

российского общества ценности порядка и свободы? Правомерно ли утверждать, что они выглядят конфликтующими, противоречащими друг другу? И самое, быть может, существенное: просматривается ли в представлениях россиян о свободе нечто такое, что само по себе исключает свободу? Не воспринимается ли она, как многие считают, в духе русской вольницы, то есть ничем не ограниченного произвола свободной от ответственности личности? С другой стороны, не ассоциируется ли она с образом СССР, как «самой свободной страны», насаждавшимся (и не всегда безуспешно) советской пропагандой?

«Порядок плюс свобода» — формула большинства

Если попытаться коротко сформулировать отношение большинства россиян к ценностям порядка и свободы, то его можно выразить так: важно и то, и другое; ни тем, ни другим лучше бы не жертвовать. Так, 51% опрошенных считает, что для быстрого выхода России из кризиса россияне должны приобрести привычку к порядку и соблюдению законов. Это — самый популярный ответ, что свидетельствует о повышенной озабоченности именно беспорядком и беззаконием в стране, о массовом запросе на наведение порядка. Но у подавляющего большинства наших сограждан мы не обнаруживаем и готовности отказаться ради него от политических и других прав и свобод: принести некоторые из них в жертву на алтарь порядка и стабильности согласны лишь 20% населения (подробную информацию об этом читатель может найти в представленной ниже таблице).

Можно сказать, что сам образ порядка в массовом сознании, как правило, лишен сегодня какого-либо налета самобытности, он соответствует скорее западным, чем почвенническим, представлениям, согласно которым либерально-западные права и свободы и русский порядок взаимоисключают друг друга. Народная экспертиза показывает: такие представления не соответствуют нынешнему восприятию народом самого себя. Только 14% опрошенных согласны с мнением, что россиянам свобода не так нужна, как людям на Западе, между тем, как несогласие с ним выразили три четверти респондентов. Поэтому мы вправе предположить, что беспорядок, с которым люди сталкиваются в России, они видят не столько в **избытке** свободы, сколько в **негарантированности** многих прав и свобод человека, которые представляются им существенными и которыми они, как правило, не хотят поступаться.

Вот данные, иллюстрирующие этот тезис.

Таблица 2. Оценка россиянами значимости основных прав и свобод человека и их соблюдения в современной России (данные в процентах от общего числа опрошенных; респондент мог выбрать не более трех ответов).

	Какие из следующих прав человека вы считаете наиболее важными для себя лично?	Какие из следующих прав человека, на ваш взгляд, в России чаще всего нарушаются властями?	Есть ли, на ваш взгляд, среди перечисленных прав такие, которые следовало бы ограничить или даже отменить ради установления в стране порядка и стабильности?
Право на защиту чести и достоинства личности	82	54	2
Право на жизнь	80	30	1
Право на свободу передвижения (выезд за рубеж, выбор места жительства и др.)	52	23	5
Право на политические свободы (право свободно избирать органы власти, право создавать политические и другие общественные организации и т.п.)	46	21	7
Право на свободу вероисповедания	41	8	2
Право на этническое, национальное равенство (права граждан не могут быть ограничены по национальному признаку)	39	18	2
Право на доступ к необходимой информации (отсутствие цензуры, открытость архивов и др.)	32	31	7
Ни одно из них	1	3	51
Затрудняюсь ответить	3	16	29

Мы не намерены подробно комментировать приведенную информацию — это далеко увело бы нас от нашей темы. Отметим лишь, что наиболее важным для себя россияне считают сегодня право на защиту чести и достоинства личности; они называют его даже чаще, чем право на жизнь! Мы видим также, что ущемление личного достоинства граждан люди склонны ставить в вину нынешним властям больше, чем что-либо другое. Значит ли это, что политические и другие свободы, которые, похоже, воспринимаются сегодня большинством населения как более или менее гарантированные, с достоинством личности никак не ассоциируются? Значит ли это, что советский порядок без свободы выглядит более благоприятным для достойного, неуниженного существования человека, чем нынешний беспорядок со свободой?

Однозначный ответ мы, к сожалению, дать не можем, так как соответствующих прямых вопросов в нашей анкете не было. Мы располагаем лишь ответами на вопрос о том, когда в большей степени соблюдались права человека в их совокупности, — сейчас или в советский период. Коммунистическому прошлому отдали в данном отношении предпочтение 34% опрошенных. Остальные либо считают, что в последние годы по сравнению с советскими временами ничего не изменилось (30%), либо высказываются в пользу постсоветского периода (18%), либо затрудняются на этот вопрос ответить.

Эти данные обнажают принципиально новую проблему посткоммунистического развития, которая в последнее время начинает привлекать внимание политологов и в бывших социалистических странах, и на Западе. В советские времена права человека ущемлялись коммунистическим государством. Теперь выяснилось, что посткоммунистическое государство может продекларировать и узаконить эти права в сколь угодно широком наборе, но не в состоянии обеспечить их **защиту**, надежно гарантировать их соблюдение, то есть быть тем, чем и положено быть государству. Поэтому, наверное, так мало людей отдают должное тому расширению пространства прав и свобод, которым отмечено последнее десятилетие. Поэтому же многим кажется, что в данном отношении за эти годы ничего не изменилось, а многие даже отдают предпочтение советскому периоду перед нынешним.

Есть такие нарушения прав, которые унижают еще больше, чем всеобщее политическое бесправие. Потому что к таким вещам, как необеспеченность безопасного проживания или невыплаты зарплат и пенсий, нельзя приспособиться — они взрывают основы повседневного существования человека, ставят его в положение, когда он, даже при очень сильном желании, не может делать то, что для себя и своей семьи делать должен. Вот почему, наверное,

именно право на защиту чести и достоинства выглядит сегодня в глазах людей и самым главным, и чаще всего попираемым.

И все же полученные данные не дают достаточных оснований предполагать, что коммунистический порядок воспринимается большинством как более надежно, чем посткоммунистический, гарантирующий соблюдение прав человека. Скорее всего, и в данном случае россияне нынешнему беспорядку со свободой предпочитают не прошлый порядок без свободы, а тот порядок, который имеет место на Западе. Если советскому периоду по части защищенности прав человека отдает предпочтение по сравнению с постсоветским лишь треть населения, то западным странам — вдвое больше людей (69%).

Именно там, на Западе, видят россияне то сочетание порядка и свободы, которого не находят в своей стране. Они, повторим еще раз, тяготеют не свободой, а ее недостаточной обеспеченностью, слабой гарантированностью своих узаконенных прав. Понимают они, похоже, и то, почему свобода и порядок мирно сосуществуют на Западе и плохо уживаются друг с другом в России: в первом случае их соединяет всемогущество закона, а во втором разъединяет его бессилие. Почти три четверти опрошенных (71%) убеждены в том, что законы на Западе соблюдаются в большей степени, чем в России; противоположной точки зрения придерживаются всего 5% наших респондентов.

Нам осталось ответить лишь на один вопрос, который, быть может, и есть самый главный. Можно с воодушевлением принимать формулу «порядок плюс свобода» и западные образцы ее практической реализации, но при этом саму свободу толковать не на западный, а на самобытно-российский манер. В политических и интеллектуальных кругах до сих пор широкое хождение имеет мнение о присущем россиянам отождествлении свободы с ничем не ограниченной и безответственной вольницей. С другой стороны, нашим согражданам приписывается нечто прямо противоположное: предрасположенность к осуществляемой государством опеке, потребность в патриархальной «отеческой заботе» с его стороны, в обмен на которую они готовы добровольно поступаться ради него своими собственными интересами, чувствуя себя при этом вполне свободными.

Доводы в защиту той и другой точки зрения найти не так уж трудно: история России и в самом деле представляет собой нескончаемую цепь шараханий из одной крайности в другую — от анархической смуты к тоталитарному упорядочиванию, нередко преподносимому (и многими воспринимаемому) как высшее воплощение свободы. Но следует ли отсюда, что страна и впредь обречена на раскачивание между этими двумя полюсами, что народ

за долгие столетия подобных качаний так ничему и не научился, что иного понимания свободы, кроме анархического и тоталитарного, он до сих пор не сумел в себе выработать?

Мы попытались это выяснить и получили следующие данные.

Таблица 3. Представления россиян о свободе (данные в процентах от общей численности опрошенных; респондент мог выбрать не более трех ответов)

Какие из следующих суждений о свободе наиболее точно и полно отражают ваше представление о ней?	
Свобода - это возможность делать все, что не противоречит нормам нравственности, морали	52
Свобода - это возможность делать все то, что не запрещено законом	48
Свобода - это право влиять на положение дел в стране, открыто высказывать свои взгляды, участвовать в выборах, в деятельности общественных организаций	46
Свобода - это независимость частной жизни человека от государства	36
Свобода - это добровольное подчинение личных интересов интересам коллектива, страны, государства	15
Свобода - это возможность делать все, что хочется, без всяких ограничений	7
Другое	1
Затрудняюсь ответить	4

Не углубляясь опять-таки в детальный анализ этой информации, отметим лишь то, что составляет предмет нашего непосредственного интереса.

Во-первых, анархическое представление о свободе, как о чем-то ничем не ограниченном и беспредельном, распространено в российском обществе меньше всего, а представление о необходимости ее ограничений (моральных или юридических) — больше всего. Поэтому, быть может, нынешнее смутное время не стало временем всеобщей смуты.

Во-вторых, в глазах почти половины населения свобода неотделима от политических прав.

В-третьих, сравнительно немногие (чуть больше трети) воспринимают ее как независимость частной жизни человека от государства. Это не значит, что большинство людей не придает такой независимости никакого значения. Просто в их частную жизнь государство давно уже не вторгается, они успели к этому привыкнуть, а привычное, если на него никто не покушается, может и не восприниматься как важная жизненная ценность.

Наконец, в-четвертых, очень слабый отклик в российском обществе находят сегодня советская версия свободы, предполагающая добровольное подчинение личных интересов общественным (коллективным или государственным).

Можно ли на основании приведенных данных утверждать, что в России укоренились либерально-западные представления о свободе? Мы бы с такими выводами не торопились. Готовность воспринимать либеральный язык сама по себе еще не является достоверным свидетельством приверженности либеральным ценностям. Ведь и при советской власти декларировалось право (и даже обязанность) каждого «влиять на положение дел в стране», участвовать в выборах и в деятельности общественных организаций и не запрещалось делать то, что не запрещено законом. Самобытный советский порядок без свободы опирался на советскую версию свободы — именно это в значительной степени обеспечивало его устойчивость.

Но дело не только в том, что слова из либерального политического лексикона в стране с неукорененной либеральной традицией могут наполняться самым разным смыслом. Дело еще и в том, что и к самим словам восприимчивы в сегодняшней России далеко не все и даже не большинство. Да, оно, большинство, не реагирует на откровенно антилиберальные — тоталитарные и анархические — версии свободы. Но это говорит лишь о том, от каких представлений люди уходят и к каким не приходят, а не о том, к чему они пришли и в каком мнении окончательно утвердились.

Тоталитарная версия свободы, предполагающая добровольное слияние человека с государством, может находить отклик в сознании лишь в том случае, если существует реальная или вымышленная (но воспринимаемая как реальная) военная угроза свободе общей, независимости страны и государства. Сегодня, как будет показано в следующей главе, ощущения такой угрозы у большинства россиян нет. В подобных исторических ситуациях образ свободы неизбежно меняется; она начинает восприниматься не столько как общая, сколько как индивидуальная; не как независимость государства, а как независимость **от** государства.

При этом действительно возникает благоприятная почва для ее понимания в духе анархического своеволия и вседозволенности. И если такое понимание, вопреки мнению некоторых современных отечественных экспертов, широкого распространения в посткоммунистической России не получило, то это значит, что, уходя от одной крайности, страна удержалась от того, чтобы шарахнуть в другую. Но историческое пространство (оно же в данном случае и время) между крайностями тоталитаризма и анархизма вовсе не обязательно заполняется либерализмом. Оно может быть

заполнено и чем-то промежуточным, неким гибридным образованием, сочетающим в себе эти крайности и взаимоуравновешивающим их. Что-то похожее мы могли наблюдать в позднесоветский период и, похоже, имеем возможность наблюдать и сегодня.

Если свыше половины наших респондентов не назвали в числе измерений свободы политические права человека, а почти две трети — независимость его частной жизни от государства, то об укорененности в их сознании **либеральных** представлений об этой ценности говорить не приходится. Можно, конечно, объяснять такое положение вещей тем, что невмешательство в частную жизнь, равно как и основные политические права, кажутся людям гарантированными, и мы в своем месте подобным объяснением не преминули воспользоваться. Но ценность, актуализируемая лишь при **ущемлении** прав, — это еще, строго говоря, никакая не ценность. Ценность может зарождаться как реакция на неблагоприятные жизненные обстоятельства, но о ее укорененности правомерно говорить лишь тогда, когда она перестает быть ситуативной реакцией. Если этого нет, то это значит, что люди готовы принять ее, но вовсе не обязательно готовы ее **защищать**, гарантируя тем самым невозможность каких-либо на нее посягательств. Полученные нами данные не позволяют утверждать, что российское общество при любом повороте событий может рассматриваться как надежный гарант свободы в ее либеральном толковании.

Сомнения на сей счет возрастают еще больше, когда сталкиваешься с отношением россиян к законодательно-юридическим ограничителям свободы: напомним, что свыше половины опрошенных с этими ограничителями ее не связывают, полагая, возможно, что свобода есть нечто более широкое или высокое, чем закон, а то и просто не имеющее к нему никакого отношения. Между тем без такого ограничителя она становится фикцией: закон — это единственное, что способно обеспечить **равенство** в свободе и ее союз с **порядком**, защищая свободу одних от свободы других. И если она с законом не ассоциируется, то это значит, что сам ее образ не является либерально-одноцветным. Отсюда не следует, что ему в таком случае остается лишь быть одноцветно-тоталитарным или одноцветно-анархическим. Он может быть и гибридным, когда ослабление государственного диктата связывается не с законом и его общеобязательным соблюдением, а с установлением режима своего рода взаимопопустительства «верхов» и «низов», расширяющем для тех и других поле допустимого беззакония, но при этом позволяющем удерживать общественный порядок от полного распада.

У нас, повторим, есть достаточно оснований предполагать, что именно такое взаимопопустительство, которым был отмечен пос-

лесталинский (особенно брежневский) период советской истории, соответствует представлениям многих россиян о свободе и, как будет показано в одной из последующих глав, их представлениям о российской самобытности вообще. Наверное, и сегодня, когда границы взаимопопустительства значительно расширились, оно вполне могло бы их устроить, если бы сочеталось с прежней упорядоченностью жизни. Но оно с ней не просто не сочетается; выясняется, что свобода взаимопопустительства **без** порядка со временем **сужает** круг людей, которые могут пользоваться ею в своих интересах.

Из этой исторической точки можно двигаться или в сторону нового государственного диктата, или к либерально-правовому ограничению свободы, блокирующему ее превращение в свободу криминального беспредела. Мы видели, что желающих двигаться в первом направлении сегодня намного меньше, чем отдающих предпочтение второму. Однако значительная часть российского общества, судя по всему, руководствуется достаточно смутными представлениями о свободе и ее ограничителях, обеспечивающих ее сочетание с порядком. Еще один симптом этой смутности — пусть не очень выразительное, но все же предпочтение, отдаваемое россиянами **нравственным** ограничителям свободы перед юридически-правовыми.

Разумеется, без нравственности нет порядка. Более того, в традиционно-патриархальных общностях, сравнительно небольших по численности населения и основанных на добровольном подчинении обычаю и нерасчлененности функциональных и личных отношений, ее роль действительно не идет ни в какое сравнение с ролью права по той простой причине, что правового регулирования в строгом смысле слова там еще нет, как нет и индивидуальной свободы в ее либеральном понимании. Однако в современном городском обществе с его разветвленной сетью функциональных связей миллионов людей нравственные ограничители свободы без ограничителей юридически-правовых устойчивый порядок обеспечить не в состоянии. Перед умственным взором славянофилов и многих их последователей, противопоставлявших западной «принудительной законности» русский суд по «обычаю, совести и правде», была, прежде всего, Россия сельская; в ней и только в ней они могли находить почву для своих идеалов. Город — ахиллесова пята почвеннической мысли. Она может в лучшем случае **отрицать** городской быт как таковой, и ее представители, наделенные интеллектуальным бесстрашием и не боявшиеся быть последовательными, именно так обычно и поступали, но она всегда пасует, когда речь заходит об **обустройстве** этого быта в соответствии с выдвигаемыми ею общими принципами.

Жизнь, как известно, очень часто зло подшучивает над самыми возвышенными идеями и идеалами. Получилось так, что единственными, кто попытался построить в России индустриально-городской порядок на основе не права, а морали (в совокупности с насилием и коммунистической идеологией), оказались большевики, разрушившие до основания тот самый традиционный сельский уклад, из которого почвенники всегда черпали свое вдохновение. Партийный билет требовал соблюдения определенной этики, ограничивавшей индивидуальную свободу даже в интимно-личных отношениях (партком мог заставить жениться и обязать не разводиться); добровольно же они соблюдались или вынужденно, в данном случае особого значения не имеет. Со временем, правда, этот ограничитель свой регулирующие-упорядочивающий потенциал все больше утрачивал, но — продолжал декларироваться. Сохранялся и спрос на него в обществе: даже в условиях позднесоветского взаимопопустительства «верхов» и «низов» последние, уже в силу своей сохранявшейся зависимости от начальства, продолжали оценивать его, руководствуясь не правовыми, а прежде всего нравственными мерками. Столь своеобразными и — не побоимся сказать: самобытным — образом выражался в массовом сознании одновременный запрос и на расширение пространства индивидуальной свободы (от власти-начальства), и на укрепление порядка (внутри начальства). Не надо быть социологом, чтобы иметь право утверждать: сегодня, как и раньше, мнение народное склонно судить «верхи» прежде всего «по совести и правде» хотя бы потому, что для закона они по-прежнему не всегда достижимы.

Таким образом, в представлениях россиян о свободе (даже если отвлечься оттого, что одни и те же представления у разных людей могут наполняться разным смыслом) обнаруживаются противоречия друг другу тенденции. С одной стороны, есть меньшинство, сохраняющее приверженность тоталитарно-коммунистической версии этой ценности, и меньшинство, отбрасывающее данную версию в пользу анархической. С другой — улавливается разноректорность ориентаций внутри большинства: наряду с либеральным вектором, в его представлениях можно обнаружить следы позднесоветской эпохи, сочетавшей в себе тоталитарные и анархические черты.

Какая же из этих тенденций возобладает и перевесит другую в ходе упорядочивания постсоветской жизни, на которое существует сегодня массовый запрос? Либерально-западная? Тенденция реставрации позднесоветской гибридности? Но можно ли реставрировать ее, учитывая, что она уже проявила свою неустойчивость и распалась? Здравый смысл понуждает вроде бы сказать «нет», но такой ответ порождает лишь очередной вопрос: полностью ли

исключена трансформация этой тенденции в желание восстановить в России самобытный порядок, предполагающий жесткий диктат государства над обществом и человеком? И что бы это могло сегодня означать? Возрождение военно-коммунистической (сталинской) версии порядка и соответствующей ему версии свободы? Если да, то в прежнем виде или с соответствующими поправками на время? И с какими именно? А если нет, то о каком другом самобытно-русском нелиберальном порядке может идти речь?

Ответить на эти вопросы (хотя бы в первом приближении) нам поможет анализ ориентаций и настроений небольшой группы людей, ценящих порядок выше, чем политические свободы, и видящих в таком предпочтении важную самобытную особенность россиян. И главное, что нас будет интересовать, — это их отношение к свободе. Готовы ли они ради порядка отказаться от нее? Как они ее понимают? Есть ли в их представлениях о ней нечто специфическое, принципиально отличающее эту группу от основной массы населения?

«Порядок важнее свободы» — формула меньшинства

В склонности россиян считать, что порядок в стране важнее политических свобод, усматривают самобытную особенность страны и ее народа сравнительно немного опрошенных — всего 23%. Положительно же оценивают ее лишь 7% респондентов (в дальнейшем будем называть их *авторитаристами*), а 13% — отрицательно (опять-таки чисто условно назовем их *антиавторитаристами*).

Мировосприятие последних мы детально анализировать не будем: по своим воззрениям они примыкают к *антиколлективистам* и *антиуравнителям*. Единственное существенное отличие заключается в том, что они заметно острее реагируют на такую особенность россиян, как их склонность действовать в обход закона. Эту особенность отрицательно оценивает почти половина *антиавторитаристов* (49%), что в два с лишним раза больше, чем в среднем по населению, и примерно в полтора раза больше, чем среди *антиколлективистов* и *антиуравнителей*. Это свидетельствует о том, что представители группы, считающей вредной саму мысль о превосходстве порядка над свободой, критичнее других оценивают готовность своих сограждан к либеральному восприятию свободы, предполагающему наличие развитого правосознания. Попутно отметим, что российское общество в целом такой самокритичности не обнаруживает. Не надо, думаем, доказывать, что это отнюдь не способствует становлению и утверждению в России общественного порядка, обрученного со свободой, а не разведенного с ней.

А теперь перейдем непосредственно к *авторитаристам*. Они заметно выделяются не только из общей массы населения, но и на фоне других рассмотренных нами групп. Среди них еще выше, чем среди *коллективистов* и *уравнителей*, процент пожилых людей и ниже доля людей с высшим образованием (всего 12%). Выделяются они и своим мировоззрением. Речь идет, однако, вовсе не о том, что они хотели бы видеть Россию развивающейся по китайскому или похожему на него сценарию (наличие экономических свобод при отсутствии политических). Сторонников «китайского пути» в их составе хотя и больше, чем в среднем по населению, но они составляют всего 6% представителей данной группы. Выделяются же *авторитаристы*, прежде всего, своими симпатиями к советскому прошлому, по сравнению с которым настоящее в их глазах, судя по всему, не выдерживает критики.

Особенно заметно проявляется это в отношении к советской повседневности: 59% *авторитаристов* считают, что в советский период у человека было больше, чем сейчас, возможностей найти свое место в жизни; столько же — что при советской власти в большей степени соблюдались права человека; 56% — что тогда было больше справедливости. Предпочтение постсоветской повседневности отдают в этих вопросах соответственно 22, 13 и 5% представителей данной группы. Особое внимание обращаем на отношение к соблюдению прав человека: к этому сюжету нам еще предстоит вернуться, а пока отметим, что именно здесь обнаруживаются самые существенные отличия *авторитаристов* от всех остальных. Процент тех, кто находит советскую повседневность более благоприятной для человека с точки зрения защищенности его прав, в интересующей нас группе почти в два раза выше, чем по населению в целом, и примерно в полтора раза выше, чем среди *коллективистов* и *уравнителей*.

Но *авторитаристы* выделяются не только своей ностальгией по советской повседневности, но и более благосклонным, чем у других, отношением к советской экономической, политической и идеологической системе. Среди них 30% (почти в полтора раза больше, чем у *коллективистов* и *уравнителей*) хотели бы, чтобы Россия вернулась к социалистическому строю, а 38% считают, что, провозгласив в 1917 году курс на строительство коммунизма, страна пошла правильным путем. Эта группа — единственная, где доля одобряющих исторический поворот 1917 года превышает долю осуждающих его (35%). Правда, и среди *авторитаристов* приверженцы коммунистической идеологии и сторонники реставрации коммунистической системы не составляют большинства. Но приведенные данные достаточны, чтобы утверждать: если порядку сегодня отдают предпочтение перед свободой, то это означает

противопоставление нынешнему беспорядку именно **советской**, а не какой-либо другой, упорядоченности.

Сказанному не противоречит и повышенная озабоченность *авторитаристов* сохранением российской военнoдержавности, которой склонны придавать важное значение 38% их представителей, что почти в два раза больше, чем в среднем по населению. Вместе с тем в их настроениях можно уловить и симптомы запроса на принципиально новый русский порядок, а именно — на порядок с национально-этнической идеологической окраской. Почти каждый четвертый в их составе (23%) хотел бы видеть Россию государством **русского** народа, что в полтора раза больше, чем по населению в целом, и больше, чем в любой из рассмотренных и еще не рассмотренных нами почвеннических групп. Однако симптом этот все же слишком слабый, чтобы говорить о сколько-нибудь явной и набирающей силу тенденции. К тому же политически он почти не проявляется: скажем, за В. Жириновского, больше других склонного к публичной националистической риторике, в интересующей нас группе голосуют немногие, таких среди *авторитаристов* даже меньше, чем в среднем по населению. Скорее всего, их национализм ближе к той его версии, которая характерна для нынешней компартии, пытающейся вписать его в идеологию российской державности — как в советском, так и в досоветском ее воплощениях.

Показательно, что во время нашего опроса в составе *авторитаристов* было 40% зюгановцев (заметно больше, чем в любой другой группе) и только 7% сторонников А. Лебеда, в программе которого лозунг наведения порядка, сочетающийся с идеей державности, был одним из главных. Повторим еще раз: под самобытным порядком, который «важнее свободы», *авторитаристы* чаще всего подразумевают порядок, существовавший при советской власти и ассоциируемый прежде всего с коммунистической, а не какой-либо другой партией.

Но и они, вспоминая с теплым чувством советскую повседневность, в большинстве своем настроенно относятся к идее реставрации коммунистической общественной системы во всех ее деталях и подробностях. Откуда же такая настроенность? Причина ее, на наш взгляд, в том, что «порядок **выше** свободы» и «порядок **вместо** свободы» — это в их глазах чаще всего не одно и то же. Прошлое же, судя по всему, ассоциируется у большинства из них со словом «вместо», а в такое прошлое они возвращаться не хотят.

Авторитаристы тем-то и интересны, что их обостренная реакция на нынешнюю неупорядоченность и ностальгия по потерянно-му раю коммунистической повседневности сочетается с ярко выраженным желанием сохранить обретенные в постком-

мунистический период политические и другие свободы, ценность которых для них бесспорна. В этом отношении они почти не отличаются от населения в целом, а если отличаются, то не меньшей, а, как правило, даже несколько большей заинтересованностью в гарантиях этих свобод. Учитывая, что различия, как правило, не превышают 5%, мы, дабы не перегружать текст цифрами, соответствующие данные считаем возможным не приводить.

Не выделяются они из общей массы и своим пониманием слова «свобода». Единственное заметное исключение заключается в том, что среди *авторитаристов* в два с лишним раза больше, чем в среднем по населению, доля людей (таких здесь 32%), трактующих эту ценность как «добровольное подчинение личных интересов интересам коллектива, страны, государства». Но и в данном случае речь идет все же о явном меньшинстве. И это дает нам основания для важных умозаключений.

Во-первых, предпочтение, отдаваемое порядку перед свободой, вовсе не исключает признания высокой значимости последней.

Во-вторых, такое предпочтение отнюдь не равнозначно стремлению к реанимации советской версии свободы и советской системы, как ее гаранта; в лучшем случае, можно говорить лишь о более или менее явной тенденции.

В-третьих, все это означает, что если такое стремление и присутствует, то оно питается воспоминаниями не о сталинском государственном диктате, а об упорядоченности брежневского периода с его тоталитарно-анархической гибридной и взаимопопустительством «верхов» и «низов», упорядоченности, которую хотелось бы вернуть, но — с определенными коррективами и привнесениями, соединяющими ее с теми свободами, которых тогда не было и которые уже стали привычными.

Да, но как все же быть с тем, что большинство *авторитаристов* видит преимущество советской повседневности перед нынешней в гарантированности соблюдения прав человека, которые и есть не что иное, как права на политические и другие свободы? Думаем, что люди, зафиксировавшие в своих ответах это преимущество, не имели в виду свободные выборы или, скажем, свободу выезда за рубеж; вряд ли они успели забыть, что таких прав в советские времена попросту не существовало. Скорее всего, они имели в виду не политические, а **социально-экономические** права, нынешняя негарантированность которых и выглядит в их глазах беспорядком, заставляющим ставить порядок выше политической свободы, — ведь последняя, как выяснилось, сама по себе соблюдения этих прав не обеспечивает.

В пользу такого предположения можно привести следующий факт: среди привлекательных для них идей общественно-полити-

ческого устройства *авторитаристы* заметно реже других называют идею утверждения в России государства с рыночной экономикой, демократическими свободами и соблюдением прав человека (28% при 41% по населению в целом). После всего сказанного вряд ли можно заподозрить их в предубеждении против демократических свобод и прав человека. Скорее всего, они сдержанно реагируют на рыночную экономику, которая и воспринимается ими как ущемляющая их социальные права. Она-то, в ее нынешнем виде, и олицетворяет, наверное, в их глазах беспорядок.

Это не значит, что рыночная экономика западного типа вообще кажется им несовместимой с защищенностью наиболее важных для них прав, и что они хотели бы вернуть коммунистическое плановое хозяйство. Да, *авторитаристы* чаще всего считают, что в советские времена эти права были защищены лучше, чем сейчас. Но в их составе еще больше людей, отдающих в данном отношении предпочтение Западу, — таких в интересующей нас группе 70%, то есть даже чуть больше, чем в среднем по населению. Да и вообще *авторитаристов* нет основания считать антизападниками: 61% их представителей желал бы видеть Россию развивающейся в соответствии с одной из западных моделей, а 43% хотят жить так, как живет сегодня большинство людей на Западе (не хотят — 40%). Это меньше, чем в целом по населению и в группах *коллективистов*, и *уравнителей*, но все же достаточно, чтобы не приписывать всем *авторитаристам* предубеждение против западного образа жизни.

Другое дело, что они, похоже, меньше других склонны верить в то, что порядок западного типа может утвердиться в России. Поэтому они и обращают свои взоры к прошлому, в котором ищут столь необходимые точки опоры. Отсюда же и их относительная неприязнительность: только в этой группе готовых довольствоваться средним уровнем достатка брежневской эпохи больше, чем желающих иметь уровень благосостояния, достигнутый в западных странах. Иными словами, *авторитаристы*, проявляя повышенное недовольство незащищенностью их социальных прав, в своих требованиях весьма умеренны; они претендуют не на многое, а на необходимое, негарантированность которого ассоциируется в их представлениях не только с беспорядком, но и с несправедливостью. Не удивительно, что среди *авторитаристов* так много (49%) *уравнителей*, — это почти в два с половиной раза больше, чем в среднем по населению.

Каким же образом рассчитывают они обеспечить порядок и справедливость в России? С одной стороны, многие из них видят выход в том, чтобы как можно быстрее распространить политическую демократию на социально-экономическую сферу, приближая

тем самым уровень защищенности основных прав и свобод к западным образцам. Именно в среде *авторитаристов* обнаруживаем мы наибольшую (41% при 25% по населению в целом) долю людей, которые условием выхода России из кризиса считают создание сильных независимых профсоюзов, защищающих интересы работников путем поиска компромиссов с руководством. С другой стороны, не менее значительная их часть связывает, похоже, упорядочивание жизни с особыми взаимоотношениями человека и государства: 49% их представителей (при 31% в среднем по населению) высоко оценивают такую самобытную, по их мнению, особенность россиян, как преданность государству, готовность людей подчинять его интересам интересам личным.

Если учесть, что нечто похожее просматривается в настроениях *коллективистов* и *уравнителей*, которых в российском обществе намного больше, чем *авторитаристов*, то возникают вполне естественные вопросы. Можно ли утверждать, что эта самобытная черта воспринимается как нечто такое, что принципиально отличает россиян от западных людей? Что взаимоотношения человека и государства по-прежнему толкуются в России на антизападный манер? Для того, чтобы понять это, проанализируем мировоззрение группы респондентов, которые все без исключения оценили данную особенность как положительную, как ценное достояние России и ее народа, как залог грядущего процветания.

Государство и власть

До президентских выборов 1996 года право выступать от имени российской государственности и ее интересов считала своей частной собственностью державно-патриотическая оппозиция. Ее представители называли себя «государственниками», отказывая в этом звании представителям послеавгустовской власти. Завещения и декларации последних о важности укрепления государства в расчет не принимались по той простой причине, что в вину им вменялся развал *прежней* государственности со всеми вытекающими из него последствиями. Разные политики вкладывали в подобные обвинения различный смысл: одни имели в виду, прежде всего, ликвидацию СССР; другие — зависимость России от Запада, которая проявляется в унижительных с ее стороны уступках ему; третьи — нерешительность Кремля во взаимоотношениях с национальными республиками, ведущую, по их мнению, к окончательному распаду страны; четвертые — неспособность властей обеспечить общественный порядок; пятые — все перечисленное вместе взятое. Однако суть критики, ее общая направленность была одной и той же и выражалась в слове «антигосударственность».

Подобные обвинения имеют место и сегодня. Но после того, как представители правящей элиты не только объявили себя государственниками, но и стали доказывать свое право так называться конкретными действиями, оппозиция утратила в этой области свою монополию. А это, в свою очередь, означает, что кончилось время политической и идеологической невнятицы, и вопрос о государственности стоит теперь во всей своей остроте и конкретности: о каком именно государстве и каких его взаимоотношениях с обществом и человеком идет речь? Вопрос, на который предстоит ответить всем без исключения политикам — и тем, кто сегодня находится у власти, и тем, кто претендует получить ее в будущем. Ответы же в значительной степени будут зависеть от того, каково сегодня российское общество, что оно готово принять, а что — категорически не приемлет, до чего оно уже доросло и до чего ему еще только предстоит дорасти.

На протяжении столетий Россия знала лишь один тип взаимоотношений между обществом и государством, предполагающий подчинение первого второму в полном соответствии с формулой графа Уварова о «беспрекословной преданности и повиновении». Это действительно было нашей самобытной особенностью, и нелепо отрицать, что во многом благодаря ей стране удавалось со-

хранять и увеличивать свою державную мощь и одерживать блестящие военные победы. Гораздо хуже обстояло дело во времена мира и спокойствия, когда самобытная гражданственность несвободного человека, лишенного права влиять на формирование власти и контролировать ее действия (а именно такая гражданственность культивировалась в России), начинала размываться, утрачивать свой моральный ореол.

В такие времена идея **служения** стоящему над обществом государству, возвышаемая до идеи служения **отечеству**, не могла уберечь от разложения прежде всего тех, кому она и была в первую очередь адресована, а именно — государственных служащих, чиновников разных рангов, чье умение использовать свои должности для устройства личных дел слишком хорошо известно каждому, кто знаком с отечественной историей. Нередко эта идея оказывалась не в состоянии сообщать энергию и поддерживать чувство ответственности даже у служащих военных ведомств, недееспособность которых обычно влекла за собой — несмотря на мужество и доблесть российских воинов — унижительные поражения на полях сражений. В результате же государство вынуждено было либо еще более целеустремленно и целенаправленно подчинять себе общество, либо, как произошло в середине прошлого века после поражения в крымской войне, признать исчерпанность ресурсов подчинения и приступить к освобождению. Но, как выяснилось через несколько десятилетий, ни государство, ни общество оказались к этому исторически неготовыми. Итогом стал распад прежней российской государственности и возникновение на ее развалинах новой.

Советская власть сумела то, что не удалось ее предшественнице: она прервала начавшееся освобождение и обеспечила подчинение, сделав его всепроникающим, тотальным. Коммунистический режим стал самым совершенным, можно сказать, предельным воплощением российской государственной традиции. Но таковым он смог стать лишь потому, что привнес в нее два принципиальных новшества. Во-первых, ему удалось трансплантировать органы войны в ткань мирной жизни, имитировать проживание в «осажденной крепости», штурм которой может начаться в любой момент. Во-вторых, благодаря такой имитации, соединенной с пафосом коммунистического первопродчества, он сумел вдохнуть новую жизнь в идею служения государству, работниками которого стали не только чиновники, но и все советские люди без каких-либо исключений.

Да, это был идеализм несвободного человека, который поддерживался не только идеологией и ссылками на внешнюю угрозу, но и насилием и сопутствовавшим ему страхом, это была граждан-

ственность подневольных, таковыми себя не ощущавших. Но этот идеализм и эта гражданственность какое-то время реально существовали не только в среде высшего чиновничества (достаточно вспомнить «Новое назначение» А. Бека), но и в относительно широком слое «низов», откликнувшихся на мобилизационные лозунги и готовых благодарно и преданно служить государству, открывавшему перед ними и их детьми «светлый путь» наверх.

Однако и коммунистическое государство просуществовало недолго, сдав свои позиции практически без сопротивления. Век советского идеализма и советской гражданственности оказался очень коротким. Означает ли это, что традиция подчинения несвободного человека государству, облагороженная идеей бескорыстного и честного служения ему (идеей государственного патриотизма, если пользоваться языком нынешней оппозиции), в России себя исторически исчерпала? Может ли современное общество справиться с издержками освобождения или оно в очередной раз готово примириться с откатом к привычному?

Ответы на эти вопросы может дать только время. Мы же сегодня можем говорить лишь о том, насколько укорененной выглядит в глазах россиян почвенническая версия российской государственной самобытности, и как они эту версию оценивают. В нашей анкете она была представлена как «преданность россиянам государству (готовность людей подчинять свои интересы интересам государства)». Опрос показал, что самобытную особенность народа в этом усматривает хотя и меньшинство, но меньшинство значительное — 42% опрошенных. Довольно много в стране и людей, оценивающих ее положительно, — таких 31% (в дальнейшем будем называть их *государственниками*). Доля же респондентов, выставивших отрицательные оценки (*антигосударственники*) сравнительно невелика — их всего 6%.

Мы прекрасно понимаем, что предложенную нами формулировку можно воспринимать не только в духе графа Уварова или советских лидеров. «Преданность государству» — отнюдь не привилегия самодержавного или коммунистического режима; она вполне сочетаема и с демократией. Нельзя считать такой привилегией даже готовность подчинять интересам государства интересы личные; добровольная уплата налогов в США или Германии — тоже подчинение. Другое дело, что в этих странах подобные слова и формулировки для характеристики отношений между государством и гражданами не используется; поэтому их самобытность вряд ли может вызывать сомнения. Однако одни и те же слова разные люди могут понимать по-разному, и свою задачу мы видим в том, чтобы выяснить, как именно они ее понимают. И первое, с чем нам предстоит разобраться, — насколько «преданность государству» соот-

носятся сегодня с ощущением внешней военной угрозы, без апелляции к которой советскому режиму никогда не удалось бы миллионы людей в мирное время сделать нечувствительными к диктату государства и заставить воспринимать подчинение ему как добровольное и свободное служение.

Оборонное сознание

Термин «оборонное сознание» был введен в публицистику в первые годы горбачевской перестройки идеологами державно-патриотической ориентации. Они использовали его в борьбе против критиков коммунистической милитаризации хозяйственной и всей общественной жизни, подрывавших привычный статус армии (прежде всего генералитета) и военно-промышленного комплекса. Ссылки на оборонное сознание позволяли представлять дело таким образом, что эта критика затрагивает не только армию, но весь народ, покушается на его самобытную особенность, складывавшуюся веками, а именно — на глубоко укорененное в нем чувство военной угрозы извне и постоянной мобилизационной готовности к ее отражению.

Мы не будем сейчас углубляться в вопрос о том, насколько широко этот тип сознания был распространен в дореволюционной России. Что касается советского периода, а точнее — его первых десятилетий, то тут спорить не приходится. Романтическое отношение к армии и военным профессиям, массовый приток в кружки ОСАВИАХИМа, обаяние секретности «почтовых ящиков» и особенно причастности к ней, готовность довериться властям во всем, что имеет отношение к вылавливанию в массовом количестве шпионов и предателей, — все это действительно пронизывало повседневное существование миллионов людей, обеспечивая солдатское подчинение человека государству и — тем самым — прочность и устойчивость последнего. Что же произошло с тех пор с оборонным сознанием? Улавливаются ли его отзвуки в современных представлениях народа о самом себе и своей самобытности? А главное — соотносится ли оно с почвенническими представлениями о взаимоотношениях человека и государства и, если соотносится, то как?

Ответим сразу: почти не улавливаются и никак не соотносится. Лишь 14% опрошенных считают «обостренность у россиян чувства внешней опасности, военной угрозы» самобытной чертой России и ее народа; положительно же оценивают ее всего 3% наших респондентов. Самое же интересное заключается в том, что *государственники* в этом отношении от всех остальных практически не от-

личаются. Следовательно, преданность государству и оборонное сознание ничего общего между собой не имеют; эта преданность наполняется сегодня каким-то другим смыслом, и нам предстоит выяснить, каким именно. Но сначала попробуем все же разобраться с оборонным сознанием: почему оно, будучи в свое время столь всепроникающе мобилизующим, не оставило глубоких следов в народной памяти?

Оно начало размываться давно, сразу после окончания войны. Осмелимся утверждать, что оборонное сознание стало увядать в момент своего триумфа: оно было материализовано в великой военной победе, но этой же победой оно было исторически исчерпано. У миллионов людей появилось естественное желание воспользоваться ее плодами; никакая сила не могла заставить их снова почувствовать себя живущими в осажденной крепости. Социалистический строй мог теперь оправдывать свое существование и поддерживать веру в себя только одним — он должен был доказать людям, что их жертвы и лишения не были напрасными, что благосостояние и обустроенность, которые многие из них могли наблюдать, освобождая от фашизма Европу, могут прийти и в их дома и квартиры. Власти понимали это: демонстрация веселого повседневного благополучия в «Кубанских казаках» — одно из самых ярких тому подтверждений. Но именно в те годы, когда фильм демонстрировал достижения и возможности социализма, колхозники и колхозницы писали письма в ЦК партии (многие из них теперь опубликованы), жаловались на нищету и поборы властей и напоминали вождям азы великого учения, согласно которому бытие определяет сознание, а не наоборот.

Холодная война и страх, что она может перерасти в горячую, на какое-то время позволили придать оборонному сознанию второе дыхание. Слишком дорог был людям обретенный мир, и многие готовы были ценить его, каким бы он ни был. «Лишь бы не было войны» — это присловье, вошедшее в повседневный быт, как бы оправдывало его необустроенность и притерпелость к ней. Но по мере того, как в жизнь входили новые поколения, становилось ясно: люди не могут долго жить предощущением катастрофы, к тому же ядерной, им нужна уверенность, что ее можно избежать. И чем дольше им предлагается терпеть ради ее предотвращения невзгоды и лишения, тем слабее их вера в будущее, которое им обещают. Мы уже не говорим о том, что властям для поддержания первопроходческих амбиций советского режима и его международного влияния приходилось думать об оплате идеологических векселей и доказывать преимущества социализма не только на полях сражений, но и во всем, что касается повседневного-обыденного человеческого существования.

После смерти Сталина советские лидеры вынуждены были примириться с тем, что блестящий афоризм Д. Оруэлла «мир — это война», которому они следовали, сами того не подозревая, свое политическое значение утрачивает, государство не цементирует и популярности ему ни внутри страны, ни за ее пределами не добавляет. Чтобы поддерживать свой авторитет, им приходилось не только обещать, что мяса и молока в СССР будет больше, чем в Америке, но и ставить себе в заслугу **гарантированность мира без войны**. Однако тем самым советское государство само вырывало корни оборонного сознания, благодаря которому в свое время утвердилось и упрочилось. То, что начал Н. Хрущев, провозгласивший отсутствие фатальной угрозы новой мировой войны, завершил М. Горбачев, когда заявил, что на Советский Союз никто нападать не собирается. После этого коммунистическое государство было обречено: ведь именно оборонное сознание скрепляло все другие советские ценности, сообщая, в частности, жизненный смысл советскому коллективизму (на войне личные интересы не могут не подчиняться общим, коллективным) и советской версии справедливости (довольствие солдата не зависит от его личных достоинств и преимуществ перед другими).

О том, что связь этих ценностей с оборонным сознанием действительно существовала, свидетельствуют и наши данные о настроениях и ориентациях тех людей, которые считают обостренность у россиян чувства внешней угрозы их ценной самобытной особенностью. Мы уже отмечали, что таких людей очень немного; численность этой группы (всего 46 человек) не дает оснований для статистически значимых выводов. И все же высокая концентрация в ее составе *коллективистов* и *уравнителей* (почти в два раза более высокая, чем среди населения в целом) весьма симптоматична.

Есть ли в сегодняшней России предпосылки для реанимации оборонного сознания, без которой невозможны восстановление традиционных для страны взаимоотношений между обществом и государством и реставрация самобытной российской державности? Если и есть, то очень слабые. Когда нет ощущения внешней военной угрозы для независимости страны, то есть для свободы общей, не может быть и готовности поступаться ради нее свободой индивидуальной. А такое ощущение у большинства россиян отсутствует.

Правда, 42% опрошенных все же полагают, что внешняя угроза России существует и сегодня. Однако, вопреки надеждам отечественных антизападников, далеко не все они видят эту угрозу на Западе, то есть в странах НАТО (таких всего 21%), а у многих она ассоциируется с воспеваемым антизападниками Востоком: с му-

сульманскими странами (16%) и с Китаем (7%). Но главное даже не в этом. Главное в том, что лишь 18% опрошенных под внешней угрозой подразумевают угрозу **военную**. И опять-таки наши **государственники** в этом отношении на общем фоне никак не выделяются, что лишний раз свидетельствует об отсутствии какой-либо связи между нынешним пониманием преданности государству и советским оборонным сознанием.

Но кризис последнего имеет своим источником не только размывание образа внешнего врага. И не только обнаружившуюся после победы в Отечественной войне невозможность поддерживать в людях веру в то, что танки, самолеты и ракеты важнее их личного благосостояния. Произошел эпохальный сдвиг в массовых представлениях об источниках самого благосостояния — сдвиг, который рано или поздно переживают все народы при переходе от сельскохозяйственной цивилизации к индустриальной и постиндустриальной. В сельскохозяйственной цивилизации такими источниками являются военная мощь, дающая возможность завоеваний и пользования богатствами других народов, обширная территория и природные ресурсы. Коммунистический эксперимент на огромной территории бывшего СССР с ее колоссальными богатствами тем-то и примечателен, что он показал и доказал: в индустриальную эпоху эти источники сами по себе благосостояние не обеспечивают и обеспечить не могут. И российское общество к таким доказательствам, то есть к свидетельствам собственного исторического опыта, оказалось, похоже, восприимчивым.

Ни в чем, пожалуй, не проявляется это так наглядно, как в представлениях россиян о том, какая страна может считаться **великой**, — представлениях, не очень-то согласующихся с общепринятыми в мире критериями. Так, лишь 6% опрошенных назвали среди признаков величия обширную территорию, 11% — обладание ядерным оружием и 21% — богатые природные ресурсы. В глазах же подавляющего большинства населения величие страны — это высокий уровень благосостояния граждан (71%), высокоразвитая промышленность (70%) и уважение к правам человека (40%). Если бы мир руководствовался такими представлениями, то на постоянное членство в Совете безопасности ООН вполне могли бы претендовать Дания, Швеция или Швейцария, но никак не бывший Советский Союз, не говоря уже о нынешней России. И, тем не менее, мы бы не спешили обвинять наших респондентов в неосведомленности или в непатриотичном принижении того, что есть, и возвышении того, чего нет или не хватает.

Судьба СССР продемонстрировала, чего стоят ядерные боеголовки, обширная территория и богатейшие ресурсы без благосостояния и высокоразвитой промышленности (не только военной),

от которой оно, благосостояние, непосредственно зависит. А судьба нынешней российской армии свидетельствует о том, что рано или поздно бедность населения начинает сказываться и на военной мощи страны. И россияне, кажется, умеют извлекать из этого опыта необходимые уроки. Ставя во главу угла народное благосостояние, они демонстрируют развитое историческое чутье и понимание того, что сила и бедность больше не совместимы, что в современном мире военное могущество не может обеспечиваться за счет человека даже в такой большой и щедро наделенной природой стране, как Россия.

Поэтому и выход из нынешнего кризиса многие из них видят в преодолении **милитаристской традиции** во всех ее прежних проявлениях. Для этого, по мнению опрошенных, россияне должны: доказать себе и миру, что они могут не только хорошо воевать, но и хорошо работать (так считают 45% респондентов); понять, что величие нации определяется не силой оружия и величиной территории, а прежде всего благосостоянием граждан (42%); воспользоваться возможностью работать на себя и свою семью, а не ради государства и его военной мощи (39%). Эти цифры покажутся еще более выразительными, если учесть, что хотя бы один из трех вариантов ответа выбрали свыше двух третей опрошенных. Самое же, быть может, интересное заключается в том, что среди людей, назвавших именно преданность государству и готовность граждан подчинять ему свои личные интересы ценной самобытной особенностью россиян, доля давших такие ответы даже больше (на 6 — 8%) чем в среднем по населению, и ниже нам предстоит разобраться, что стоит за этим антипочвенничеством наших почвенников.

Желание преодолеть милитаристскую традицию не есть свидетельство исторического беспамятства и пренебрежительного отношения к воинской доблести и фронтовым заслугам предшествующих поколений. Мы предложили нашим респондентам самим, без подсказок, ответить на вопрос о том, чем, по их мнению, в истории России ее граждане могут гордиться. Чаще всего они называли победы в Великой Отечественной и многочисленных других войнах. Но когда мы поинтересовались их мнением о том, какой народ можно считать великим, выяснилось, что о военных победах и доблестях они при этом почти не вспоминают, а в числе главных признаков величия называют опять-таки благосостояние, а также высокий уровень развития науки, образования, культуры. Люди не отрешиваются от прошлого, но они отдают себе отчет в том, что конкурентоспособность страны в наши дни не может определяться только ее военной мощью и что сама военная мощь не может больше держаться на жертвенности и самоограничении народа.

Однако совместить идеал благосостояния с традиционным образом могущественной в военном отношении России многим людям непросто хотя бы потому, что трудность такого совмещения сегодня очевидна. Но тогда тем более важно знать, каким видится им место и роль России в случае, если она станет богатой, но свою былую мощь при этом не восстановит. Как скажется это, по мнению наших сограждан, на ее международном престиже? И может ли его дальнейшее падение стать толчком для реанимации оборонного сознания?

В анкете был вопрос: как вы думаете, будут ли в мире уважать нашу страну, если, достигнув высокого уровня благосостояния своих граждан, она перестанет быть сильной военной державой? Треть опрошенных (34%) ответила «да», а почти половина (46%) — «нет». Как видим, довольно значительная часть населения не усматривает особого ущерба для престижа страны в возможной утрате ею военноподдержанного статуса. Такие настроения не лишены смысла: современная мировая история знает примеры, когда авторитет и влияние бывшими военными державами завоевывались и после того, как они таковыми быть переставали (достаточно вспомнить о Западной Германии и Японии). Но людей, думающих иначе, сегодня в России все же больше. Они, очевидно, понимают, что для страны, которую мир веками привыкал уважать прежде всего за силу, утрата этой силы может обернуться существенным изменением ее роли и места на международной арене даже при достижении ею высокого уровня благосостояния ее граждан.

У нас нет оснований считать, что представители этой половины российского общества безразличны к международному престижу России, или, наоборот, больше других озабочены его реальной или возможной утратой. Но мы можем уверенно утверждать: их представления о его зависимости от державного могущества сами по себе не создают благоприятной почвы для реанимации оборонного сознания. Дело в том, что только 6% россиян видят первоочередную **сегодняшнюю** задачу России в наращивании военной мощи, между тем как 82% усматривают ее в повышении народного благосостояния. Люди, ставящие престиж страны в зависимость от силы, могут исходить из того, что пока этой силы вполне достаточно. Или из того, что он достаточно высокий, чтобы о нем не беспокоиться. Но чаще всего они, судя по нашим данным, руководствуются все же тем, что Россию в глазах мира унижает прежде всего бедность большинства живущих в ней людей.

Таким образом, идея повышения народного благосостояния в современной России конкурентов не имеет. В том числе и в интересующей нас группе *государственников*. И это при том, что они несколько выделяются на общем фоне своей реакцией на предло-

женную нами гипотетическую ситуацию: 54% их представителей полагают, что в случае, если Россия станет богатой, но в военном отношении — слабой, уважать ее не будут. И лишь 28% придерживаются противоположной точки зрения (в среднем по населению, напомним, 46 и 34%). Но эти различия исчезают при выборе между повышением благосостояния и наращиванием военной мощи: тут *государственники* демонстрируют даже несколько большую, чем население в целом, заинтересованность в первоочередном внимании к росту благосостояния.

Что за этим стоит — пониженная озабоченность международным авторитетом России при понимании его зависимости от военной силы или повышенная уверенность в том, что этой силы сегодня вполне достаточно, чтобы думать в первую очередь не о ней, а о жизненном уровне населения, — мы сказать не можем, так как соответствующими данными не располагаем. Мы можем лишь повторить, что оборонное сознание советского образца и сознание наших *государственников* не имеют между собой ничего общего. Но если превыше всего они ставят благосостояние своих сограждан, то какой же смысл вкладывают они в столь высоко чтимую ими самобытную особенность россиян, а именно — в их преданность государству и готовность **подчинять** его интересам интересы личные?

Преданность без покорности

Чтобы ответить на этот вопрос, нам предстоит сначала найти ответ на другой: о каком государстве идет речь? О прежнем, ставшем достоянием истории, о нынешнем, пришедшем ему на смену, или о российском государстве вообще? Говоря иначе, подразумевается ли под ним и его взаимоотношениями с обществом и человеком нечто постоянное, архетипическое, существовавшее веками и неподвластное переменам или что-то изменчивое, ситуативное?

Скажем сразу: мы не можем однозначно ответить на эти вопросы по той простой причине, что среди самих *государственников* в данном отношении нет единства. Часть из них (19%) хотела бы, чтобы Россия вернулась к социалистическому строю, то есть реставрировать государство коммунистическое. Другая часть (8%) мечтает о возрождении сильной военной империи в границах бывшего СССР. Но заметно больше среди них (38%) сторонников строительства государства с рыночной экономикой, демократическими свободами и соблюдением прав человека.

Это значит, что представители интересующей нас группы, объе-

диненные сочувственной реакцией на уварово-большевистскую формулу взаимоотношений между государством и человеком, в массе своей отнюдь не имеют в виду самодержавную (времен Николая I) или коммунистическую практику. В данном отношении их нельзя даже назвать самыми последовательными почвенниками. Да, в их составе несколько выше, чем в среднем по населению, процент людей с реставраторскими настроениями, но этот процент ниже, чем среди *коллективистов, уравниателей и авторитаристов*. Не вправе мы говорить и о том, что под преданностью государству они подразумевают «государственный патриотизм» в толковании современных державников, да и любой другой тоже. Среди качеств, которые хотелось бы видеть в собственных детях, «патриотизм, любовь к Родине» назвали 34% *государственников*, что больше, чем в среднем по населению (25%), но меньше, чем среди *уравниателей и авторитаристов*. Меньше в их среде и сторонников коммунистической партии: перед первым туром президентских выборов за Г. Зюганова собирались голосовать 25% представителей рассматриваемой группы — ровно столько же, сколько за Б. Ельцина.

Таким образом, люди, считающие самобытным достоянием россиян их преданность государству и готовность к самоограничению ради него, имеют в виду *разное* государство и разные взаимоотношения между ним и человеком. А это значит, что речь идет не об устойчивом традиционном образе, а о ситуативных реакциях на нынешнюю политическую практику, когда одна и та же традиционная («самобытная») лексика часто используется для выражения конфликтующих друг с другом представлений, а совпадение позиций порой затушевывается конфронтацией слов.

Это очень хорошо видно при сравнении *государственников и антигосударственников*. Последние, разумеется, отличаются от первых своим более критичным отношением к советскому прошлому и более благосклонным — к постсоветскому настоящему. Но эти отличия, во-первых, гораздо менее существенны, чем отличия между *коллективистами и антиколлективистами, уравниателями и антиуравниателями, авторитаристами и антиавторитаристами*, а во-вторых, в некоторых важных случаях они сводятся до минимума, а порой и до нуля.

Люди, считающие неприемлимым и вредным самоограничение человека во имя государства, выделяются, прежде всего, повышенной озабоченностью тем, чтобы обеспечить независимость своего индивидуального проживания от государственной и любой другой регламентации. Этим, надо полагать, и объясняются наиболее выразительные особенности их мировосприятия по сравнению с *государственниками*. Судя по всему, их больше, чем других, тяго-

тил и сковывал советский коллективизм, и поэтому в их составе пониженная — 35% — доля *коллективистов* (среди *государственников* 56%). Похоже, большинство из них не склонно придавать слишком серьезного значения и законопослушанию: всего 21% *антигосударственников* считает отрицательной чертой россиян их привычку действовать в обход закона (среди *государственников* 34%). Правда, эта цифра несколько возрастает, когда речь заходит о криминальных действиях в сегодняшней жизни: 28% представителей данной группы считают, что в современной России люди достигают успеха главным образом благодаря жульничеству и ловкости. Однако и здесь они уступают *государственникам* (37%), более чувствительным к нынешней криминализации и всему, что с ней связано. Наконец, *антигосударственники* выделяются повышенной (40%) долей людей, для которых свобода в частной жизни важнее, чем в общественной (среди *государственников* 26%). Однако различия между двумя группами почти исчезают, когда речь заходит не о пользе или вреде самоограничения во имя государства, а о **типе** государства, которому люди готовы подчинять свои интересы или, наоборот, которое обеспечивает наиболее благоприятные возможности для независимого от государства проживания.

Мы видели, что *государственники* в этом отношении далеки от единства. Но то же самое мы обнаруживаем и у *антигосударственников*: в их рядах тоже мирно уживаются друг с другом демократы, сторонники реставрации социалистического строя и поборники возрождения империи, причем все они представлены здесь примерно в тех же пропорциях, что и у *государственников* (разница не превышает 5%). Не очень отличаются эти две группы и своим политическим поведением: достаточно сказать, что перед первым туром президентских выборов 21% среди *антигосударственников* (почти столько же, сколько среди *государственников* и больше, чем в других антипочвеннических группах) составляли зюгановцы.

Отсюда следует, что слова о преданности государству и самоограничении ради него, в каком бы смысле они ни употреблялись — положительном или отрицательном, — сами по себе серьезного политического значения сегодня не имеют. Благожелательная реакция на почвенническую версию взаимоотношений человека и государства может свидетельствовать о неприятии нынешней посткоммунистической государственности и желании вернуть коммунистическую. Но может быть (и чаще бывает) и наоборот. Точно также отторжение этой версии может означать протест как против советского огосударствления всего и вся, так и против нынешнего государства, ради которого людям, как им кажется, предлагается жертвовать слишком многим и по сравнению с которым советский

режим выглядит в их глазах лучше обеспечивавшим стабильность и независимость частного проживания.

Все это, однако, пока не продвинуло нас в поисках ответа на главный вопрос. Если оборонное сознание осталось в прошлом, то что же все-таки имеют в виду те, кто высоко оценивает такую самобытную особенность россиян, как их преданность государству и готовность подчинять его интересам интересы личные? В чем видят они это подчинение? Может быть, речь идет о самоограничении в свободе ради порядка, о предпочтении, отдаваемом второму перед первой, как можно было бы предположить на основании данных, приведенных в предыдущей главе?

Но нет, такая зависимость просматривается с трудом. Да, *государственники* проявляют повышенную озабоченность наведением порядка в стране, они чаще, чем представители других рассмотренных нами почвеннических групп (даже чаще *авторитаристов*), среди условий выхода страны из кризиса называют обретение россиянами привычки к порядку и соблюдению законов. Таких в их составе 62% (при 51% в среднем по населению). Да, среди *авторитаристов*, ставящих порядок выше свободы, процент *государственников*, как мы помним, очень высок. Но обратная зависимость не столь впечатляющая: *авторитаристы* в составе *государственников* составляют всего 11% и никоим образом не определяют лицо этой группы.

Может быть, речь идет тогда о готовности жертвовать на алтарь государства материальным достатком и благополучием? Однако и такой готовности мы не обнаруживаем. Большинство *государственников* (56%) хотело бы иметь уровень благосостояния, как в современных западных странах, а 53% изъявили желание жить, как живут сегодня люди на Западе, учитывая все достоинства и недостатки тамошней жизни. В этом отношении они ничем не отличаются от населения в целом, а по сравнению с *коллективистами*, *уравнителями* и *авторитаристами* демонстрируют свои симпатии к Западу более определенно и последовательно. Это проявляется и в их представлениях о том, по какому пути должна развиваться сегодня Россия: 71% *государственников* — столько же, сколько в среднем по населению, и больше, чем в каждой из трех упомянутых почвеннических групп, — отдают предпочтение различным западным моделям.

Так что у нас нет никаких оснований утверждать, что самобытное самоограничение во имя государства означает приверженность к самобытному самоограничению в потреблении. Но тогда, быть может, все обстоит как раз наоборот? Быть может, ключ к пониманию мировосприятия *государственников* надо искать не в пониженной, а в **повышенной** озабоченности материальным дос-

татком, которое весьма своеобразно проявляется в готовности подчинять свои личные интересы интересам государства? Почему бы не предположить, что речь идет о благосостоянии **в обмен** на преданность и самоограничение или, если угодно, о преданности и самоограничении в обмен на благосостояние?

В пользу этой версии к приведенным выше данным можно добавить и некоторые другие. Большинство представителей интересующей нас группы (57%) хотело бы видеть Россию государством, сила и могущество которого обеспечиваются благодаря росту благосостояния граждан. Это больше, чем в среднем по населению (52%) и чем среди *коллективистов, уравнилелей и авторитаристов*. Перед нами тот самый случай, когда *государственники* ближе к *антиколлективистам* и некоторым другим группам, в названии которых мы использовали частицу «анти».

Но это и дает нам право предполагать, что под преданностью государству и самоограничением в его пользу они подразумевают отнюдь не служение ему ради достижения каких-то общих для всей страны военных, политических или идеологических целей, возвышающихся над личными интересами и противостоящих им. Государство, похоже, ассоциируется здесь не столько с политическим единством, сколько с гарантированностью высокого уровня индивидуального потребления (желательно, как на Западе) и социальной защищенностью. А это может означать лишь одно: за благожелательным отношением к почвеннической терминологии скрывается ориентация на своего рода партнерство, на уже упоминавшийся эквивалентный обмен, когда преданность государству и даже готовность к самоограничению ради него воспринимаются как залог того, что и оно не останется перед человеком в долгу, что лояльность последнего не останется неоплаченной.

Не исключено, что сами *государственники* именно этим принципом и руководствуются (или им кажется, что руководствуются). Вполне возможно однако и другое:

люди, ставящие во главу угла преданность государству и самоограничение ради него, имеют в виду прежде всего недостаток такой преданности и такого самоограничения у **представителей власти**, озабоченных не судьбами государства и добросовестным ему служением, а соображениями личной выгоды.

Прямых подтверждений этого предположения у нас, правда, нет (соответствующих опросов в анкете не было), зато есть некоторые косвенные. Если человек считает, что власть безнаказанно пренебрегает общегосударственными интересами, то это не может не сказаться на его восприятии взаимоотношений **власти и народа**, который должен казаться чрезмерно от нее зависимым и влиять на ее поведение не способным, а его зависимость и беспомощ-

ность должны, в свою очередь, выглядеть серьезным недостатком. И в интересующей нас группе мы такие настроения обнаруживаем: свыше половины ее представителей (53%) считают помехой на пути России к процветанию склонность ее граждан во всем уповать на власть и почти столько же (52%) видят такую помеху в их покорности, готовности мириться со всем, к чему власть принуждает. В том и другом случае *государственники* довольно заметно выделяются из общей массы населения (соответственно 41 и 37%) и не столь заметно, но все же выделяются и на фоне других рассмотренных нами почвеннических групп.

Эти данные свидетельствуют о том, что представления о самобытно-российских отношениях между государством и человеком, основанных на преданности и самоограничении последнего, сочетаются сегодня у многих людей с недовольством как властью, так и неспособностью народа противостоять ей и готовностью ей попустительствовать даже тогда, когда ее представители вредят тому самому государству, которому призваны служить. Это — признание слабости общества перед властью и желание (быть может, неосознанное) **отделить** ее от государства, а последнее — возвысить над ней, дабы оно могло обуздывать ее, противопоставляя ее силе свою сверхсилу.

Разумеется, само такое отделение представить себе непросто, как непросто вообразить руки, ноги и голову, живущими отдельно от тела. Но в России оно долгое время было естественным и даже органичным, ибо государство здесь было синонимом страны, отечества, родины, а при коммунистах даже общества и народа («государство — это мы»). Это — наша давняя традиция, которая столетиями воспроизводилась в образе-мечте об идеальном **государе**, способном привести к порядку постоянно норовящее грести под себя большое и малое отечественное начальство. В этом смысле «самодержавие» — очень точное слово. Оно в равной степени относится и к государству, и к его персональному воплощению. Оно выражает наличную реальность, но, какой бы удручающей та ни была, никогда не убивает и мечту: будет другой государь, при котором все может быть совсем по-другому. Она выживала даже после того, как государь-мечта, обуздывающий власть-начальство, оказывался Иваном Грозным, Петром I или Иосифом Сталиным, которые своей деятельностью и ее последствиями наглядно демонстрировали, что террор по отношению к боярам, воеводам или секретарям обкомов-райкомов не обходит стороной и народ, оставляя после себя ослабевшее государство и разоренную страну.

Разумеется, такие потрясения не могут не сказываться на состоянии народного духа. Они приводят к тому, что смены государя

(генсека, президента) ждут не только с надеждой, но и с опасением: а ну как при новом властителе станет еще хуже? Желание крутых перемен соединяется со страхом перед ними, радикализм нетерпения — с консерватизмом притерпелости, вера в историческое чудо — с ни во что неверием. Поэтому любую смену первого лица государства в России обычно встречают с надеждой, к которой примешивается тревога. И поэтому же чуть ли не каждый очередной российский государь (генсек, президент) начинает с разоблачения своего предшественника, списывая на него ответственность за все, что есть в стране плохого, и ставя себе в заслугу неприятие этого плохого и горячее желание устранить его. Ну, а потом все повторяется сначала: уникальная в своем роде историческая преемственность, выражающаяся в перманентной войне с прошлым.

Вырваться из этого заколдованного круга невозможно до тех пор, пока людям будет казаться, что любые перемены в стране зависят только от доброй воли первого лица, а от общества и народа ничего не зависит даже тогда, когда он это первое лицо, как и местных начальников, может свободно выбирать. Сегодня общество все еще чувствует свою слабость перед властью и не чувствует своей ответственности за то, какова эта власть и что она делает; об этом нам еще предстоит говорить подробнее. Вместе с тем людей, склонных отделять ее не только от себя, но и от государства, мистифицируя его возможности и свою слитность с ним, в стране сейчас не так уж и много. Наши *государственники* интересны тем, что многие из них в этом отношении от других отличаются: они, напомним, могут одновременно наделять народ такой добродетелью, как преданность государству и готовность поступаться ради него своими интересами, и такими пороками, как покорность перед властью и склонность во всем уповать на нее.

Возможно, им кажется, что порок в одном компенсируется добродетелью в другом. Но это всего лишь дань прежней иллюзии: строго говоря, примирение народа с произволом власти ничем компенсировать нельзя, если сам народ предпочитает отделять себя от нее, а не разделять с ней ответственность, причем не только за то, что происходит с ним и с ней в настоящем, но и за то, что происходило с ним в прошлом.

В каком-то смысле отношение к прошлому даже важнее: ведь если в нем имело место зло, если в памяти оно осталось, как ничем не компенсированное, то задним числом его не компенсируешь тем более. Но рассматривать это зло можно под разными углами зрения. Можно — сквозь призму того, что позволяла себе по отношению к народу власть. А можно — сквозь призму того, что сам народ позволял, а нередко и помогал ей себе позволять. Первая призма используется обычно тогда, когда прошлое еще не из-

жито и продолжает довлеть над народом; вторая — только тогда, когда он осознал себя освободившимся от него и потому способен судить себя бывшего непредвзято и самокритично. В первом случае он вовсе не обязательно видится сам себе безгрешным, он может даже осуждаться (скажем, за ту же покорность); речь идет лишь о том, что вся ответственность за прошлое возлагается при этом на власть. Во втором — ответственность делится между властью и народом.

Так вот, выбор призмы, как показывают наши данные, не зависят от того, как люди воспринимают почвенническую версию взаимоотношений человека и государства. Мы предположили, что представителям интересующей нас группы свойственно желание компенсировать покорность народа перед властью преданностью государству (надо полагать, не только народа, но и представителей власти). Но в реальной жизни эта компенсация не преодолевает покорность, а лишь консервирует ее, так как с ключевым вопросом об исторической ответственности народа она никак не соотносится. Поэтому нам и кажется заслуживающим внимания тот факт, что в данном отношении *государственники* ничем на общем фоне не выделяются.

Мы спросили наших респондентов: кто, по вашему мнению, в большей степени виноват в том, что в России после 1917 года разрушались храмы, уничтожались культурные ценности? Большинство (55%) ответило, что виновата власть, отдававшая такие распоряжения, 5% винят народ, эти распоряжения выполнявший, а 36% разделили вину между властью и народом поровну. И наши *государственники*, как уже было сказано, в этом отношении ничем не выделяются. Таким образом, почвенническая версия взаимоотношений народа и государства с ответственностью народа за **политические** действия власти в массовом сознании действительно никак не соотносится, никакой связи между тем и другим не обнаруживается. Можно сказать, что версия эта нейтральна по отношению к вопросу об ответственности за прошлое, которая сегодня чаще всего возлагается на власть.

Однако неоднократные смены ею в нашем столетии своей идеологической окраски, равно как и смены наследственных императоров избираемыми на пленумах генсеками, а генсеков — всенародно избираемыми президентами, сопровождавшиеся всплесками надежд и обвалами разочарований, судя по всему, не прошли бесследно и заставили многих людей обратить свой взор не только на то, что вверху, но и на то, что внизу. И сегодня мы видим: свыше трети населения возлагают ответственность за происходившее в стране не только на власть, но одновременно и на общество в целом. Не исключено, что известная мысль о народе,

заслуживающем то правительство, которое он имеет, начала проникать в массовое сознание и овладевать им.

Мы вправе так думать, потому что в оценке сегодняшних проблем и понимании причин их нерешаемости такие настроения проявляются не в меньшей, а в гораздо большей степени. Особенно, если речь идет о проблемах не политических, а конкретных, практических, решение которых легче соотносится с жизненными возможностями рядового человека. В анкете был вопрос: кто, по вашему мнению, виноват в том, что во многих российских городах грязные улицы, подъезды, лифты — городские власти или сами жители? Выяснилось, что винить в этом только власть готов лишь один из девяти опрошенных; подавляющее же большинство возлагает ответственность или на население (30%), или на население и власть в равной степени (55%). И опять-таки наши *государственники* и в данном случае ничем от других не отличаются; они мыслят и чувствуют так же, как все остальные.

Таким образом, главная их особенность заключается в том, что бессилие народа перед властью и его зависимость от нее они, в отличие от других, хотели бы компенсировать его (и власти) преданностью государству, не отличаясь в то же время от других своими представлениями о политической ответственности самого народа, от которой большинство из них склонно его освободить. И это притом, что он эту власть выбирает сегодня сам.

Такие настроения могут показаться странными и даже парадоксальными. Но они не беспочвенны, так как в них проявляется существенная особенность переживаемой страной ситуации. Если неприятие людьми покорности перед властью уже есть, а сильных и независимых от нее институтов **гражданского общества** еще нет, то получается так, что защищать человека от произвола властей практически некому. А это не может не подпитывать старую почвенническую иллюзию о **замене** гражданского общества абсолютной властью, которая олицетворяет идею общего блага и которой положено быть добровольно преданным. И до тех пор, пока гражданское общество в России не сложится и не упрочится, следы, оставленные формулой графа Уварова и ее досоветскими и советскими приверженцами, окончательно не исчезнут. Мирвосприятие наших *государственников* — при всем том, что советский строй и советская государственность ими, как правило, отторгается, — лишнее тому подтверждение.

Сам запрос на некоторое высшее упорядочивающее начало в лице абсолютной власти ничего тоталитарного в себе не заключает. Вопрос в том, кому эта абсолютная власть принадлежит. Она может принадлежать закону, а может — самодержцу или генсеку, возглавляющему стоящую над законом партию. Похоже, в созна-

нии *государственников* одно накладывается на другое, и правовое государство выглядит в их глазах своеобразным гибридом западной и идеализированной отечественной традиции единоличного правления.

Можно сколько угодно опровергать подобные иллюзии, разясняя, что власть закона исключает ее сосредоточение в руках одного человека или группы лиц и предполагает, наоборот, ее разделение между разными институтами, среди которых одно из ведущих мест принадлежит независимому суду. Но пока этого нет (а при несложившемся гражданском обществе этого быть и не может), представления о верховенстве закона будут неизбежно переплетаться в головах людей со смутными воспоминаниями о высшем персонифицированном государственном начале, черпающем свою силу в преданности граждан и способном обуздать всех тех, кто с законом не в порядке. Поэтому народ, даже имея возможность выбирать власть, не может ощущать себя ее главным источником, поэтому он и не чувствует себя за нее в полной мере ответственным. И эту особенность постсоветского массового сознания наши *государственники* демонстрируют ярче, чем кто бы то ни было.

Следует ли отсюда, что образ государства и после распада оборонного сознания исполнен для них некоего высшего, сакрального смысла, некоего самобытного духовного содержания, что он по-прежнему ассоциируется с воплощением небесных идеалов, на чем настаивают современные почвенники? С одной стороны, после всего сказанного о земных, сугубо материальных притязаниях *государственников*, для таких предположений нет никаких оснований. С другой — они обнаруживают повышенный интерес к самобытной российской духовности в ее почвеннической интерпретации («преобладание духовных ценностей над материальными»), связывая с ней надежды на лучшую будущность страны и ее народа. Ценным достоянием россиян это качество считают 59% представителей данной группы, что почти в полтора раза больше, чем в среднем по населению. Несовпадение ориентаций слишком очевидно, чтобы оставить его без внимания, но его природе нельзя понять, детально не рассмотрев представления наших сограждан о самой российской духовности.

Духовность и душевность

Странно, но, как говорится, факт: сегодня к российской духовности апеллируют, стараясь придать самому этому слову идеологическое звучание, прежде всего те политические силы, представители которых больше всех говорят о **материальном** обнищании народа. И одновременно от его же имени они выступают против «меркантилизма и вещизма» и за «преобладание духовных ценностей над материальными», понимая под духовностью свойственное россиянам самобытное стремление к земному воплощению «высших небесных идеалов». Но могут ли люди, удрученные обнищанием, отдаться во власть этим возвышающим над земной обыденностью идеалам? А если даже могут, то не станет ли их «великая мечта» всего лишь очередным историческим самообманом, придающим небесный ореол элементарному желанию земного благополучия?

Конечно, не хлебом единым жив человек. Но если хлеба или, говоря иначе, материального комфорта не хватает, то он думает обычно в первую очередь о хлебе для себя и своих детей. Это содержание приходится закладывать и в «великую мечту»; только в этом случае люди, у которых есть проблемы с хлебом, могут принять ее и даже воодушевиться ею. Вот почему политики, рассуждающие сегодня о «небесных идеалах» и «преобладании духовного над материальным», не забывают высказывать озабоченность обнищанием народа, понимая, что только это может привести их к власти.

Разумеется, если бы речь шла только о том, как стране сегодня выбраться из бедности и что для этого надо делать, то никаких вопросов не возникало бы. Но если сугубо материальные проблемы и заботы одухотворяются и возвышаются до уровня великой идеи или великой мечты, то нам остается лишь напомнить о том, что было сказано на сей счет в главе о справедливости. Все это мы на собственном историческом опыте уже испытали и могли убедиться, что ни к чему, кроме тотального лицемерия, это не ведет. Ставить борьбу с нищетой в зависимость от осуществления «неземных идеалов» — значит рано или поздно потребовать от народа самоограничения во имя «конечной цели», «преобладания духовного над материальным» или чего-то в том же роде. А чтобы требовать, требующие должны быть наделены правом распоряжаться земными делами от имени вечности.

Это и есть тот скрытый (и скрываемый) смысл, которым наполняется в наши дни почвенническое понимание духовности. Пред-

полагается, что оно свойственно и народу, что проза повседневных забот и каждодневный напряженный труд ради хлеба насущного сами по себе ему скучны, почему он и нуждается в одухотворении этой обыденности неким высшим («небесным») смыслом. Предполагается, иными словами, что утопия большевистского мессианского прорыва, поставившая осуществление прозаических личных целей в зависимость от глобально-исторических, и сегодня отвечает глубинным чаяниям большинства россиян, составляет их главную и не подвластную времени самобытную особенность.

Зная их реакцию на почвенническую версию справедливости, мы не можем не сомневаться в этом. Но, может быть, с духовностью дело обстоит иначе?

На первый взгляд, такое предположение вполне оправдано. Напомним: «преобладание духовных ценностей над материальными» относят к самобытным особенностям россиян 51% опрошенных, а 45% наших респондентов видят в этом не только проявление самобытности народа, но и его ценное достояние. Людей же, у которых данная особенность вызывала бы неприятие, в стране почти нет (всего 2%).

Но это — лишь на первый взгляд. Дело в том, что даже тех, кто оценивает ее высоко в предложенной нами формулировке («духовность россиян, преобладание духовных ценностей над материальными») часто привлекает, похоже, слово «духовность», а не акцентированное почвенниками «преобладание». Отдавая себе отчет в недостаточной корректности используемого приема, мы специально включили «преобладание духовных ценностей над материальными» в предложенный респондентам широкий перечень представлений о российской духовности, из которых им предстояло выбрать наиболее точно, на их взгляд, передающие ее содержание. И — обнаружили заметное уменьшение численности людей, у которых она ассоциируется с таким «преобладанием». По населению в целом их доля уменьшилась на треть (с 45 до 30%), а среди назвавших духовность достоянием россиян, способствующим величии страны, более чем вдвое (со 100 до 48%).

Однако и эти цифры сами по себе пока еще мало о чем говорят. Во-первых, чтобы отстаивать «преобладание духовного над материальным», вовсе не обязательно быть почвенником. А во-вторых, «преобладание духовного» — это сегодня всего лишь идеологический знак, скрывающий содержание самого духовного; его ведь тоже можно понимать по-разному, и претендовать здесь на монополию никто не вправе.

Что же подразумевают под российской духовностью люди, видящие в ней не только самобытную особенность россиян, но и за-

лог будущего процветания страны? Какой смысл, а точнее — какие смыслы они в нее вкладывают? Ищут ли они эти смыслы в недавнем прошлом, в советской «великой мечте»? И, наконец, означает ли высокая оценка этого самобытного качества принципиальное неприятие западного образа жизни, как утверждали и утверждают идеологи отечественного почвенничества?

Апология чувства

Итак, далеко не у всех, а только у 48% представителей интересующей нас группы российская духовность ассоциируется с «преобладанием духовных ценностей над материальными»; у остальных же таких ассоциаций не возникает. Не будем пока выяснять, чем первые отличаются от вторых. Рассматривая тех и других как единую группу, объединенную признанием высокой значимости российской духовности для судеб страны, попробуем понять, что же подразумевают под ней входящие в эту группу люди. Приблизиться к такому пониманию нам поможет анализ *других*, более конкретных и содержательных представлений об основах российской духовности.

Но сначала — одно предварительное замечание. Предлагая респондентам различные варианты ответов, мы не руководствовались сколько-нибудь строгим толкованием содержания интересующего нас понятия. Свою задачу мы видели в другом: учесть, по возможности, наиболее распространенные в нашем обществе интерпретации самобытной российской духовности, включая и те, которые выглядят недостаточно корректными и даже подменяющими ее смысл, как в случае с «преобладанием духовного над материальным». Мы, говоря иначе, шли от жизни, от реальностей массового сознания, какими мы их себе представляем, и сознания идеологов современного почвенничества, каким оно предстает в их публичных заявлениях и декларациях, а не от словарей, энциклопедий и ведущихся специалистами дискуссий. Считаем также нужным обратить внимание на то, что респондент мог выбрать не один, а несколько (но не более трех) ответов: с одной стороны, это облегчало его выбор, с другой — ограничивало его, заставляя сконцентрироваться на наиболее для него значимом.

Начнем с того, что очень немногие подразумевают под российской духовностью интерес к гуманитарному знанию, к расширению культурного кругозора. Так, лишь 15% представителей исследуемой группы полагают, что она проявляется в интересе к истории и культуре своей страны; еще меньше — всего 6% — называют среди ее признаков интерес и уважительное отношение к истории и

культуре других народов. Примерно такая же картина наблюдается и по населению в целом.

У нас нет материала, позволяющего толковать эти цифры однозначно. Они могут свидетельствовать о том, что в массовом сознании разрушен (или вообще не сложился) навязывавшийся в недавнем прошлом образ России как «самой читающей страны», превосходящей другие страны широтой и многообразием культурных запросов своих граждан. Но вполне оправдана и другая версия: люди отдают себе отчет в том, что духовность не сводится к знанию и информированности.

Если так, то, быть может, российская духовность воспринимается как христианская, православная? Первые христиане, да и сам Христос, университетов, насколько нам известно, не кончали, а к познаниям «книжников и фарисеев» относились более чем настороженно именно потому, что не обнаруживали в них той духовности, которая предполагает возвышение человека над каждодневной суетой и индивидуальным эгоизмом, озабоченным самоутверждением за счет превосходства в богатстве, образованности или чем-то еще, а проявляется только в особом отношении к другому человеку, передаваемом словом «любовь». Похоже, однако, что и христианская духовность не воспринимается сегодня, как присущая народу России; только 26% представителей интересующей нас группы (при 21% в среднем по населению) считают основой российской духовности религиозность, веру в Бога. И, тем не менее, представление о том, что в ее основе — некий **особый тип человеческих взаимоотношений**, распространено достаточно широко.

Речь идет не о том, что называется «культурой отношений между людьми» и предполагает следование определенным правилам и нормам. Этого наши респонденты в повседневной жизни, судя по всему, не обнаруживают, а потому только 10% представителей рассматриваемой группы склонны усматривать в этом проявление российской духовности. Речь, скорее, идет о чем-то принципиально нерациональном, ни с какими нормами и правилами не связанном, а именно — о предрасположенности россиян к эмоциональным контактам, к доверительности и искренности общения, к тому, что называется «излить душу». Среди тех, кто назвал российскую духовность ценным достоянием наших соотечественников, 40% расшифровали ее как «потребность в дружбе, общении, откровенных разговорах по душам» и 39% — как «теплоту, сердечность отношений между людьми». В этом они тоже почти не отличаются от населения в целом, что свидетельствует о широкой распространенности таких представлений во всем российском обществе. Существенно и то, что хотя бы **одну** из этих близких по своему смыс-

лу особенностей назвали составляющей российской духовности свыше половины представителей интересующей нас группы.

Вполне допускаем, что многие скажут: эмоциональное взаимодействие людей имеет весьма косвенное отношение к тому, что нас интересует, и смысл чего передается словом «духовность». И это действительно так. Но мы, повторим, рассматриваем массовое сознание, а оно такое, какое есть, и если в нем что-то чему-то не вполне соответствует, если какие-то слова воспринимаются им не так, как нам кажется правильным, то это значит, что именно такова исследуемая реальность, и нам остается лишь добросовестно ее зафиксировать.

В дальнейшем мы не раз сможем убедиться в том, что приведенные данные не случайны; в них проявляются некоторые существенные особенности народного самосознания, имеющие давние истоки. Отечественные мыслители, начиная опять-таки со славянофилов, фиксировали еще одно принципиальное отличие западного человека от русского. Первому, по их мнению, присущ рационализм, сосредоточенность на обустройстве и упорядоченности своего повседневного существования. У своих соотечественников они такой практической целеустремленности не обнаруживали и не видели в сознании и привычках россиян никакой почвы для ее привития им. И эту особенность славянофилы попытались истолковать не как недостаток, а как преимущество, поставив русскую склонность к эмоциональному (и совместному с другими людьми) **переживанию** жизни в ее полноте и непосредственности выше эгоистично-рассудочного **проживания** ее западным человеком, — проживания, этой полноты и этой непосредственности лишенного.

Такие представления не противоречат и наблюдениям и оценкам отечественных мыслителей начала нашего века, исследовавших религиозное сознание русского народа и находивших в нем особый, уходящий корнями в православную традицию дар, который состоит, по их мнению, в «преобладание религиозного **чувства** над религиозной волей» (С. Аскольдов). С другой стороны, представления эти вполне соответствуют расхожему мнению о широкой натуре русского человека, его иррациональности, непредсказуемости и необъяснимости многих его поступков, которые «умом не понять» и которые делают его загадкой для рационально мыслящей личности, всегда просчитывающей свое поведение и отдающей себе отчет в том, почему она действует именно так, а не иначе.

Двадцатый век наглядно продемонстрировал, что такое массовая эмоциональная спонтанность и дефицит рациональности и индивидуальной воли в индустриальную эпоху. Это — благодатная

почва для восприятия «великой мечты» в ее коммунистической идеологической упаковке, когда все, что касается рациональности и воли, берет на себя государственная власть, оставляя гражданам лишь право на чувство — веры в нее, любви к ней и ненависти к ее противникам. Такого поворота событий славянофилы и люди близких им взглядов не предвидели, а если бы предвидели, то не одобрили бы. Но история развивалась именно так, а не иначе; она развивалась скорее в соответствии с представлениями графа Уварова, чем славянофилов. Однако не последнюю роль в этом сыграла та самая особенность народа, которая славянофилами поднималась на щит и которая заключалась в преобладании эмоционального начала над рациональным.

Далеко не все представления идеологов российского почвенничества о русском народе подтверждаются сегодня народной экспертизой. Это — в значительной степени подтверждается. Мы вновь обнаруживаем, что теплота эмоциональных контактов, их доверительность и откровенность воспринимаются как одно из главных проявлений российской самобытности. Да, но речь ведь идет о взаимоотношениях между людьми, а не между человеком и государством! Это так, но это не значит, что одно с другим никак не связано.

Советский режим культивировал у наших сограждан проживание чувствами по отношению не только к власти, но и друг к другу. Такое проживание поддерживалось отсутствием у большинства людей возможности строить свои взаимоотношения на основе **интересов**. Интересы тогда связывались главным образом с властью (обладанием ею или «отеческой заботой» с ее стороны) и почти никогда — с отношениями между людьми или группами людей. Любые попытки привнести их сюда (вроде уже упоминавшихся экспериментов Ивана Худенко и его единомышленников) в конце концов наталкивались на преграды, которые оказывались непреодолимыми. Это приводило к тому, что из человеческих взаимоотношений, если они оставались в границах легальности, исключалась какая бы то ни было рациональность, практичность, целенаправленность; в лучшем случае, весь их практический смысл сводился к обоюдной поддержке и помощи в трудных обстоятельствах или обмену мелкими услугами. Потребность в эмоциональных контактах, в откровенных разговорах «за жизнь» была естественным следствием всеобщей зависимости от власти, уравнивающей и — тем самым — сближающей людей, остро нуждающихся в эмоционально-психологической компенсации неполноценности исторического проживания.

Разумеется, когда наши респонденты говорят сегодня о российской духовности как о «теплоте и сердечности», то это не толь-

ко воспоминания о прошлом. Это одновременно и реакция на настоящее, которое ощущения полноценности большинству россиян не принесло, а человеческие взаимоотношения охладило, сделало их более расчетливыми и прагматичными. В жизнь вторгся его величество интерес, право жить лучше других, причем не чуть-чуть, а без всяких ограничений, стало официально провозглашенным принципом. Но далеко не все могут ему успешно следовать. Поэтому и сохранился в памяти образ прежних отношений между людьми, поэтому и выглядит он в глазах многих привлекательным.

Не удивительно, что высокая оценка российской духовности соотносится с высокой оценкой коллективизма: в интересующей нас группе, представления которой, как правило, не отличаются от представлений российского общества в целом, *коллективистов* почти в полтора раза больше (52%), чем в среднем по населению. Это не удивительно, так как в обоих случаях имеется в виду одно и то же: желание отдельного «я» вернуть утраченное «мы» и найти в нем опору, хотя бы и только эмоциональную.

Однако разрушение этого «мы» началось не сегодня и даже не десять лет назад. Оно началось еще в брежневскую эпоху, когда «мы» стало разъедаться и дробиться на части утверждавшейся в жизни формулой: «Ты мне, я — тебе». И не сегодня, а тогда пошли разговоры о том, что «люди стали хуже». Но если хуже, то по сравнению с чем? Очевидно, по сравнению с временами проживания в осажденной крепости и последовавшим за ним военным лихолетьем. Такие времена человеческая память склонна романтизировать всегда. Но в них никогда и никто не хочет возвращаться. Коммуналки тоже многие вспоминали с теплым чувством, но обменивать на них с трудом полученные отдельные квартиры желающих не было.

Меньше всего люди послесталинской эпохи помышляли о том, чтобы вернуться в прошлое. Они были счастливы уже тем, что им разрешили обустроить их индивидуальный быт, сменив место в солдатском строю на место в очереди — за жилплощадью, мебельными гарнитурами и прочим дефицитом, в разряд которого, в конце концов, попала и колбаса. Но они чутко улавливали и симптомы гниения коммунистической системы, идущего, как всегда, с головы, но быстро распространявшегося и на другие части общественного тела. Оборонное сознание, цементирувавшее советские ценности и придававшее им смысл, становилось достоянием истории, но ничего другого, что могло бы заменить его и предохранить советское коллективное «мы» от коррозии, изобретено не было. Да и не могло ничего такого появиться, потому что официальные коммунистические ценности в принципе не могли быть приспособлены к повседневной мирной жизни, из которой ушло ощущение эк-

стремальности, и соединиться с ценностями индивидуального благосостояния.

Солдатский строй, скреплявшийся страхом и пренебрежением к жизненным благам, не удалось заменить общей очередью за этими благами по той простой причине, что при ослаблении страха появлялось все больше удачливых охотников получать их без очереди. Природа, изгнанная в дверь, влезала в окна или находила черный ход: скованные обручами запретов частные и групповые интересы устремлялись в нелегальную или полунелегальную сферу, между тем как в легальном пространстве укоренялись бесплодная каждодневная суета и апатия. Все это и влекло за собой обесмысливание индивидуального и коллективного существования, что было зафиксировано и в литературе эпохи «застоя», и в публицистических сетованиях той поры на бездуховность и измельчание человека, и даже в официальных документах. Достаточно вспомнить постановления, направленные против разлагавшегося советского коллективизма, который едва ли не ярче всего проявлялся в ставших повсеместными застольях на рабочих местах и в рабочее время.

Да, коммунистическому государству еще удавалось удерживать единое советское «мы» от полного распада, не отказываясь от «отеческой заботы» о народе в обмен на всеобщую от себя зависимость. Однако о «великой мечте» и «небесных идеалах», в чем идеологи почвенничества и сейчас видят одно из главных проявлений российской духовности, в те времена даже власти вспоминали больше по инерции, чем по убеждению. Есть ли основания утверждать, что с тех пор что-то принципиально изменилось, что выпавшие в последние годы на долю народа трудности возбуждают в нем желание поставить их преодоление в зависимость от воплощения «великой мечты», противостоящей «меркантилизму и вещизму» и предполагающей «преобладание духовных ценностей над материальными»?

На первый взгляд, такие основания существуют. Дело в том, что самым распространенным представлением о российской духовности и в интересующей нас группе, и среди населения в целом оказалась «вера в будущее, помогающая терпеливо переносить трудности настоящего» (соответственно 59 и 54%).

Предлагая респондентам этот вариант ответа, мы отдавали себе ясный отчет в его условности.

Во-первых, такая вера, толкуемая нередко нашими почвенниками как важная составляющая духовности, к последней если и может быть отнесена, то с большими натяжками.

Во-вторых вера в будущее, которое всегда лучше настоящего, или, что то же самое, вера в прогресс — вовсе не экзотический

плод, произросший на самобытной российской почве; он завезен в Россию с Запада.

В-третьих, в России эта вера укрепилась как вера в **коммунистическое** будущее, а мы эту особенность в предложенной формулировке ответа обошли.

Но все это мы сделали вполне сознательно, исходя лишь из одного: есть современное почвенническое представление о российской духовности как о готовности к самоограничению во имя осуществления «великой мечты» (не обязательно коммунистической), и нам надо проверить, насколько оно соответствует умонастроениям нынешних поколений наших сограждан.

Повторим еще раз: подобное представление находят сегодня отклик у большинства населения. Но это такой ответ, который лишь влечет за собой новые вопросы. Что имеют в виду люди, когда говорят о «вере в будущее»? Коммунистический идеал? Советский опыт его конкретного воплощения? Или то будущее, которое обещают нынешние реформаторы, указывая, как на образец, на западное настоящее?

Духовное и материальное

Полученные нами данные не оставляют сомнений в том, что духовность не воспринимается сегодня как нечто противостоящее высоким стандартам потребления и материальному началу вообще, как синоним простоты и скромности жизненных притязаний, о которых говорили славянофилы. Люди, выделившие духовность как одно из важнейших самобытных качеств россиян, не меньше других озабочены тем, чтобы иметь высокий уровень благосостояния, и они не хотят обменивать это свое желание на возможность служения «небесным идеалам», не хотят искать духовные компенсаторы бедности, а стремятся из нее выйти. Только 15% представителей интересующей нас группы считают скромные потребности россиян, их готовность довольствоваться малым ценным качеством народа, которое может помочь ему в решении стоящих перед ним проблем. В данном отношении эта группа тоже почти не отличается от населения в целом. Доля же отрицательных оценок почти в три раза больше (39%), что даже превосходит соответствующий средний показатель по населению (34%).

Люди признают: да, скромность потребностей действительно свойственна россиянам, то есть народная экспертиза подтверждает справедливость почвеннического представления о народе. Но эта же экспертиза отвергает высокую оценку материальной непритязательности граждан России как их самобытное преимуще-

щество; наши респонденты склонны усматривать в такой особенности своих соотечественников не столько самобытное преимущество, сколько самобытный недостаток. Что отсюда следует? Отсюда следует, что даже в том случае, когда люди высоко оценивают российскую духовность и даже когда она ассоциируется у них с «преобладание духовного над материальным», они чаще всего не имеют в виду низкие потребительские стандарты. Духовное не **вместо** материального, а **вместе** с ним, «преобладание духовного» при обеспеченном и комфортном проживании — вот в чем, скорее всего, смысл и пафос сегодняшних настроений в российском обществе.

О том же, как это ни покажется странным, свидетельствует и широко распространенное представление о российской духовности, как о «вере в будущее, помогающей терпеливо переносить трудности настоящего». Чтобы превозмочь невзгоды и лишения, требуются недюжинные духовные силы, россияне умели и умеют их в себе находить, и наши респонденты отдают должное жившим и живущим поколениям своих соотечественников. Но «вера в будущее» потому и помогала находить такие силы, что она не представлялась чем-то самоценным; она предполагала и предполагает, что будущее может быть **другим**, что терпение рано или поздно будет вознаграждено, что бедность и лишения исчезнут, а на их место придут высокий достаток и благополучие.

Об этом красноречиво свидетельствует сегодняшнее восприятие россиянами такого присущего им качества, как терпеливость, о чем нам предстоит подробно говорить в следующей главе. Пока же ограничимся информацией о том, что 62% представителей интересующей нас группы (это даже чуть больше, чем в среднем по населению) видят унижение России именно в бедности большинства народа. Это значит, что люди ее терпеливо переносят, но восторга от своего терпения не испытывают и идеализировать его не склонны. А это, в свою очередь, означает, что «вера в будущее», воспринимаемая как составляющая российской духовности, исполнена не столько небесного, сколько земного и вполне материального смысла; можно сказать, что в ней духовное и материальное не отделились друг от друга, пребывая в некоем нерасчлененном единстве.

Подобное состояние сознания ничего общего не имеет с жертвенностью и аскетизмом, то есть с добровольным самоограничением желаний, что может быть (и в истории часто бывало) проявлением колоссального духовного взлета. Если желания в принципе не могут получить удовлетворения, а человек хочет их удовлетворить, но не может, то никакого самоограничения и никакой духовности, отделившейся от материальных потребностей, тут еще,

строго говоря, нет; есть лишь полное подчинение духовного материальному и растворение в нем. Сегодня, похоже, наконец-то намечается их расчленение и обособление друг от друга: материальное начинает жить самостоятельной жизнью, освобождаясь от союза с «великой мечтой» и «неземными идеалами». Это — начало прорыва от полуязыческой архаики к современности, прорыва, который многими не замечается, а многими воспринимается как противоестественное отступление от отечественной традиции. Но, быть может, это не противоестественное отступление, а органическое преодоление *старой* традиции и подготовленное предыдущим развитием утверждение новой? Быть может, то, что раньше было самобытно-почвенным, сегодня становится беспочвенным и — соответственно — наоборот?

Нам кажется, что сам народ склоняется именно к такому мнению о самом себе. Поэтому нынешние представления о «вере в будущее», как важной составляющей российской духовности, могут уживаться в его сознании с отрицанием коммунистического прошлого: лишь 16% представителей интересующей нас группы хотели бы, чтобы страна вернулась к социалистическому строю. Коммунизм отвергается не только в своем практическом воплощении, но и в самом замысле, то есть как «великая мечта»: каждый второй в этой группе считает провозглашение в России в 1917 году курса на строительство коммунизма исторической ошибкой и только каждый пятый думает иначе. Отторжение же именно потому и произошло, что коммунистический режим при всех своих апелляциях к духовному началу (идейности, сознательности, бескорыстному энтузиазму) никогда не отказывался от обещаний обеспечить производительность труда и, соответственно, уровень *материального благосостояния*, более высокие, чем «при капитализме», доказав тем самым исторические «преимущества социализма».

Доказать это не удалось. И как следствие — утрата веры в *такое* будущее даже теми, у кого она была крепка. Отречение от прежних иллюзий, которое началось еще в советские времена, наиболее, быть может, выразительно проявлялось в дегероизации народным сознанием образов «борцов за народное счастье». Отречение это происходило без надрыва, было не раздраженно-злым, а добродушно-ироническим, о чем можно достоверно судить, в частности, по нескончаемому позднесоветскому сериалу анекдотов о Василии Ивановиче (Чапаеве). Ирония же в таких случаях — верный признак основательности преодоления и окончательности расставания с прошлым. Поэтому коммунизм и ушел из нашей жизни почти без сопротивления: ко времени горбачевской перестройки он был уже исторически изжит, ибо даже его идеологам

стало ясно, что испытания земными надеждами он не выдержал и выдержать не в состоянии.

Советский режим был вынужден, идя за массовыми ожиданиями, с которыми не мог не считаться, начать борьбу с Западом на потребительском поле. Он эту борьбу проиграл и должен был признать свое поражение. Но россияне, окончательно утратив после этого веру в коммунизм и преимущества социализма, продолжают считать «веру в будущее» своей оригинальной особенностью. Однако само будущее выглядит теперь в глазах большинства из них отнюдь не самобытным; проигрыш Западу привел к переориентации на западные образцы. И, как ни странно, это не кажется чем-то противоречащим российской самобытной духовности!

Так, почти три четверти людей, признающих ее высокую значимость для судеб страны (это даже чуть больше, чем в среднем по населению), хотели бы, чтобы Россия развивалась в соответствии с какой-либо из западных моделей. Большинство представителей этой группы (60%) желали бы иметь западный уровень благосостояния; заявивших о своей готовности удовлетвориться уровнем достатка брежневской поры здесь в два с лишним раза меньше. Привлекателен для них и западный образ жизни в целом — 54% из них хотели бы жить так, как живет сегодня большинство людей на Западе, что ровно вдвое превышает численность тех, кто такого желания не испытывает. Много в их составе и людей (таких 47%), которые, будь у них возможность, послали бы своих детей и внуков в западные страны для получения там образования. Правда, и возражающих против этого тоже немало (35%). Возможно, многие опасаются, что учеба на Западе может расшатать основы российской духовности. Но больше все же тех, кто этого не боится. Наверное, они полагают, что если такую духовность их детям и внукам привить, то высокое качество образования ей не повредит.

Таким образом, высокая оценка российской духовности, признание ее оригинальности и самобытности ничего общего не имеет сегодня ни с умалением значимости материального комфорта, ни с антизападничеством. Интересная деталь: в данном отношении даже те, кто усматривает основу отечественной духовности в «преобладании духовных ценностей над материальными», ничем особенным не отличаются и на общем фоне не выделяются. Это — еще одно и, быть может, самое выразительное подтверждение оправданности нашего вывода о том, что такое преобладание не воспринимается как готовность довольствоваться малым и возводить бедность в добродетель. Но если бедность, вопреки известной поговорке, рассматривается теперь чуть ли не как порок, если во всем, что касается материальных стандартов жизни, россияне отказываются от своей самобытности в пользу западных образцов,

то, быть может, они видят наше преимущество перед Западом именно в духовности?

Полученные в процессе исследования данные позволяют ответить и на этот вопрос.

Россия и Запад: где люди более духовны?

Наш опрос выявил определенную закономерность: респонденты, считающие российскую духовность ценным самобытным достоянием страны и ее народа, чаще других склонны видеть в ней наше превосходство над Западом. Почти половина из них (43%) полагают, что люди в России более духовны, чем в западных странах, 6% отдадут в этом отношении преимущество Западу и 44% склоняются к мысли, что духовность не зависит от места проживания (по населению в целом соответственно 34; 7 и 48%). Однако и в этой группе, как видим, сторонники известной точки зрения: «они — богаче, а мы — лучше», не составляют большинства. Популярность же мнения о независимости духовности от места проживания человека дает нам право предположить, что многими россиянами она воспринимается сегодня не как некая, данная раз и навсегда, **общенародная** особенность, а прежде всего — как **индивидуальное** качество, которое вырабатывается самостоятельно, а не производится автоматически историческим жизненным укладом независимо от личных усилий каждого.

Если наше предположение верно, то это значит, что многие из тех, кто высоко ценит российскую духовность, видят в ней не особую привилегию народа, существующую от века и передаваемую по наследству, а трудную работу личности по собственному совершенствованию. Мы не знаем, насколько эта старая мысль проникла в сознание россиян, но мы будем постоянно иметь ее в виду, анализируя достаточно широко распространенное представление о нашем духовном превосходстве над Западом. В чем же именно видится сегодня это превосходство?

После всего сказанного странно было бы обнаружить, что люди ищут и находят его, противопоставляя духовное материальному. И мы ничего такого обнаружить не смогли. Представители интересующей нас группы несколько выделяются из общей массы опрошенных своей склонностью отдавать предпочтение россиянам перед западными людьми по части духовных достоинств. Но они ничем не отличаются от населения в целом в своих представлениях о том, где люди придают большее значение материальному благополучию. Большинство из них (54%) не видит в этом отношении между Россией и Западом никакой разницы. Если даже принять в

расчет довольно значительное (32%) количество тех, кто считает живущих на Западе более озабоченными, чем россияне, материальным достатком, то это нисколько не продвигает нас в поисках ответа на поставленный вопрос, так как и в данном случае интересующая нас группа не отличается от населения в целом. Но раз так, то в чем все-таки проявляется наше духовное превосходство?

Скажем сразу: обнаружить его оказалось очень непросто даже тем представителям рассматриваемой группы, которые убеждены в его существовании. Мы попросили наших респондентов ответить на ряд вопросов о духовно-культурных качествах человека в России и на Западе. Выяснилось, что лишь незначительное меньшинство входящих в эту группу респондентов отдает предпочтение россиянам перед жителями западных стран. Так, всего 13% среди них считают, что в России выше культура отношений между людьми, что в нашей стране они уважительнее, чем на Западе, относятся друг к другу. Между тем тех, кто придерживается противоположной точки зрения, почти в четыре раза больше (49%). Сравнительно немногие (22%) полагают, что наши сограждане отличаются повышенным, по сравнению с живущими на Западе, интересом к истории и культуре своей страны, в то время как 43% респондентов не видят в этом отношении между теми и другими никакой разницы. Не обнаруживают представители интересующей нас группы и какого-либо превосходства россиян в том, что касается христианской духовности. Лишь 18% среди них считают, что для русского человека религиозные ценности более значимы, чем для западного, 28% полагают, что дело обстоит наоборот, а 40% не находят в данном отношении между россиянами и западными людьми никаких принципиальных различий. И во всем этом группа, признающая высокую значимость российской духовности для судеб страны, практически не отличается от населения в целом.

Таким образом, мы лишний раз можем убедиться в том, что представления о российской духовности очень слабо соотносятся с представлениями о широте гуманитарных интересов, религиозности, культуре отношений между людьми. Оказывается, можно не видеть в этом никаких преимуществ России перед Западом и даже отдавать ему предпочтение, будучи убежденным в духовном превосходстве первой над вторым! Вопрос остается открытым: в чем же тогда это превосходство заключается?

Вспомним самые популярные представления об основах российской духовности: с одной стороны, это вера в будущее, помогающая терпеливо переносить трудности настоящего, с другой — теплота эмоциональных контактов между людьми (потребность в дружбе, общении, откровенных разговоров по душам, сердечности человеческих взаимоотношений). Но если так, то, быть может,

именно в этом и видится превосходство россиян перед западными людьми?

Мы не спрашивали наших респондентов о том, где, по их мнению, больше «верят в будущее», — в России или на Западе. Но мы интересовались их мнением о том, где люди больше **уверены** в будущем, в завтрашнем дне. Подавляющее большинство (72%) представителей рассматриваемой группы ответило, что на Западе, и лишь 5% — что в России. Если даже предположить, что «вера в будущее» воспринимается как наше духовное преимущество, то придется признать, что речь идет о вере в будущее без уверенности в нем. А если учесть, что сам образ будущего чаще всего срисовывается с западного настоящего, то какое же здесь преимущество?

Но мы, повторим, не знаем, ощущают ли наши респонденты в этом отношении свое превосходство над гражданами западных стран, так как такого вопроса им не задавали. Что касается «теплоты и сердечности», то об этом мы можем судить вполне достоверно. Интересующая нас группа, пусть и не очень заметно, но все же выделяется из общей массы населения своей склонностью считать, что в России люди больше, чем на Западе, стремятся к дружбе и общению между собой. Этой точки зрения придерживаются 45% ее представителей (в среднем по населению — 39%). Выделяется она и своим представлением о превосходстве россиян в **душевности** человеческих взаимоотношений: предпочтение им в данном отношении перед западными людьми отдает 51% ее представителей (при 44% по населению в целом).

Конечно, эти различия не очень значительны. Но это — единственный случай, когда в нашей группе преимущество русского человека над западным отметило свыше половины респондентов. Да и среди населения в целом это преимущество в душевности называли чаще, чем какое-либо другое. Поэтому у нас есть основания предположить, что под духовностью многие подразумевают именно душевность, вбирающую в себя и теплоту, сердечность взаимоотношений, и потребность в дружбе, общении, откровенных разговорах по душам.

Это предположение мы решили проверить, обратившись к представлениям той части населения (она, напомним, составляет 34%), которая безоговорочно высказалась в пользу духовного превосходства России над Западом. И наша гипотеза получила выразительное подтверждение: подавляющее большинство (78%) тех, кто отдал преимущество россиянам по части духовности, отдает им предпочтение и по части душевности. Это — в три с лишним раза больше, чем среди тех, кто не ставит духовность в зависимость от места проживания (25%) и в два с лишним раза — чем среди тех,

кто отдает в данном отношении преимущество Западу (35%). Резко выделяется эта группа на фоне двух других и своей убежденностью в том, что россияне отличаются повышенной, по сравнению с западными людьми, потребностью в дружбе и общении (соответственно 57; 30 и 26%).

Мы не собираемся сейчас углубляться в вопрос о различиях между духовностью и душевностью. Отметим лишь, что сегодняшняя народная экспертиза подтвердила справедливость наблюдения Николая Бердяева и других отечественных мыслителей о присущей русскому народу душевности. Они же связывали ее с преобладанием в русском национальном характере женского начала и слабой проявленностью в нем начала мужского, предполагающего не пассивное приспособление к обстоятельствам и примирение с ними, а развитую индивидуальную потребность в самостоятельном и ответственном отношении к жизни и строительству собственной судьбы, а главное — потребность в постоянном соотношении себя с идеалом и **самоизменении** в соответствии с ним. Если этого нет, то о духовности можно говорить в лучшем случае, как о чем-то потенциальном, а не как о том, что реально проявляется в повседневном существовании.

При неразвитости индивидуальной воли и ее не востребоваемости сама идея самоизменения не может сколько-нибудь глубоко укорениться. Но она вполне может компенсироваться культом сострадания и жалости к себе и окружающим (вспомним знаменитое русское сочувствие к пьянице) и возвышением ценности страдания, примиряющими с безвольным проживанием. Здесь, наверное, и надо искать ключ к пониманию самобытной природы российской душевности — этого «непреодолимого стремления к душевному **обнажению** перед первым встречным» (М. Волошин), к обнаружению себя перед другими в хорошем и плохом, к исповедальному самопроявлению без самоизменения. Российская душевность — органический плод нашего исторического развития, результат многовековой зависимости человека от власти, скудности материального существования и отсутствия условий для самостоятельного и ответственного устройства своей судьбы.

Это может, конечно, показаться социологическим огрублением в толковании сложных культурных явлений, сведением их к сугубо внешним обстоятельствам человеческого существования. Все возможные упреки на сей счет мы готовы принять. В оправдание же попробуем сослаться на очень уж выразительную двусмыслицу в русском языке самого слова «воля», противостоящего одновременно не только безволию (внутреннему), но и неволе (внешней).

Итак, мы выяснили, что и сегодня русская душевность высоко ценится многими россиянами и воспринимается как их самобыт-

ное преимущество перед западными людьми. Очевидно, в русской душевности они по-прежнему ищут психологическую компенсацию материальной необеспеченности, неразвитости условий для самостоятельного ее преодоления и сохраняющейся зависимости от большого и маленького начальства. Но былой теплоты и сердечности товарищей по несчастью они уже часто не находят. Кто-то готов принять это как данность, с которой не поспоришь и которую не изменишь. Кто-то полагает, что раз особых душевных достоинств у россиян не наблюдается сейчас, то их не было и раньше: напомним, что значительная часть населения не видит в данном отношении у русского человека никаких преимуществ перед западным. Не исключено, наконец, что кто-то признает такие особенности имевшими место, но считает их не достоинствами и преимуществами, а анахронизмом, «совковостью» или чем-то в том же роде. Но многие, повторим, вспоминают душевное прошлое с ностальгией и расставаться с ним не хотят, а не хотят, наверное, потому, что оно для них — никакое не прошлое, оно живет в них и сегодня, помогая сохранять надежду на лучшее вопреки всем выпавшим на их долю трудностям и невзгодам.

Об этом надо помнить, анализируя нынешние попытки политизировать и идеологизировать российскую духовность. Надо помнить о том, что в массовом сознании духовность чаще всего неотличима от душевности, равно как и об исторических корнях и историческом своеобразии этой душевности. Она предполагает не только теплоту эмоциональных контактов между людьми, но распространяется и на их отношения с властями, предполагает надежду на доброго царя и любого другого начальника, будь-то помещик, председатель колхоза или директор завода. Она предполагает не столько веру в закон и неукоснительность его соблюдения, сколько «отеческую заботу» со стороны власти; она предполагает, короче говоря, что и власть должна быть душевной.

Можно ли политизировать и идеологизировать такой запрос, идущий снизу? Судя по нашим данным, сегодня это сделать невозможно, так как воспоминания о духовно-душевном прошлом и ностальгия по нему сочетаются в массовом сознании с отторжением прошлой экономической и политической системы и ориентацией на западное, а не самобытно-российское качество жизни. Поэтому духовность, понимаемая как душевность, еще слабее ассоциируется с апеллирующими к ней политическими силами антизападнической ориентации, чем коллективизм, не говоря уже о других почвеннических ценностях. В цифрах это выглядит так: среди людей, считающих российскую духовность ценным достоянием народа и залогом его грядущего процветания, перед первым туром президентских выборов за Г. Зюганова собирались голосо-

вать 23%, между тем как за Б. Ельцина — 27%. Это не значит, что бездушно-технократическое отношение к человеку, столь характерное для нынешней власти, люди готовы добровольно терпеть и дальше. Это значит лишь то, что большинство из них не видит альтернативы такому отношению в «отеческой заботе», культивировавшейся властью прежней.

Но если сегодня политизировать и идеологизировать духовность нельзя, то можно ли будет сделать это завтра? Разумеется, никакие социологические опросы не могут претендовать на получение однозначных ответов на такие вопросы. Тем не менее, кое-какую дополнительную информацию для размышлений на этот счет мы можем представить.

Конформизм и диссидентство

Мы выяснили, что под самобытной российской духовностью наши респонденты чаще всего подразумевают веру в будущее, помогающую терпеливо переносить трудности настоящего. Казалось бы, подобное представление о ней должно сочетаться с высокой оценкой такой самобытной особенности россиян, как терпеливость, — тем более, что она в анкете была расшифрована как способность наших сограждан в течение длительного времени переносить трудности и лишения. И, тем не менее, ничего похожего мы не обнаружили.

Во-первых, численность людей, считающих терпеливость ценным качеством народа России, в полтора с лишним раза меньше численности тех, у кого отечественная духовность ассоциируется с помогающей терпеть верой в будущее. Это значит, что многие могут признавать такую веру свойственной своим соотечественникам, не видя в ней сколько-нибудь ценного их достояния.

Во-вторых, люди, разделяющие это представление о духовности, в своих оценках терпеливости от остальных не отличаются. В свою очередь, респонденты, высоко оценивающие терпеливость, не выделяются из общей массы опрошенных своими представлениями о духовности, как о «вере в будущее». Более того: они почти не отличаются в этом отношении и от тех, кто терпеливость осуждает!

Но если так, то остается лишь признать, что ее одухотворение парадоксальным образом может сочетаться с ее неприятием. А это значит, что само такое одухотворение может быть всего-навсего словесной данью традиции, лишенной для человека сколько-нибудь существенного и глубокого жизненного содержания, традиции отчужденной, но из памяти не выветрившейся, сохранившей в ней свои следы. Это примерно то же самое, что с известной поговоркой: «Бог терпел и нам велел». Ее не забыли, ее не оспаривают, на нее ссылаются в трудные минуты, она связывает человека с отечественной историей и прошлыми поколениями, но отсюда вовсе не следует, что он согласен добровольно терпеть невзгоды и идти им навстречу, видя в них свое духовное призвание.

Мы вправе предположить, что оценки терпеливости сегодня в большей степени питаются импульсами, идущими из жизни, чем оценки той же терпеливости, включенной в формулу российской духовности, да еще в сочетании с «верой в будущее». Как же воспринимаются нашими современниками это качество, как относятся они к многократно воспетому и многократно осужденному русскому долготерпению?

Этот вопрос — один из ключевых в нашем исследовании. И не только потому, что терпеливость признавали самобытной чертой россиян и отечественные западники, и почвенники всех поколений кроме нынешнего, которое своим вниманием и расположением ее не жалуется, так как она служит не почвенникам, а их политическим противникам, находящимся у власти. Вопрос этот ключевой еще и потому, что именно терпеливость чаще всего называют в числе самобытных особенностей россиян наши респонденты. С другой стороны, в восприятии именно этого качества они раскалываются на две примерно одинаковые по численности группы (напомним, что 32% опрошенных выставили ему положительные оценки и 27% — отрицательные). В других случаях мы такого раскола пока не обнаруживали.

Что же стоит за всем этим? Какие сдвиги и тенденции здесь проявляются?

Сначала договоримся о терминах. Тех, кто оценивает интересующую нас особенность россиян положительно, мы в дальнейшем для удобства будем называть *терпеливцами*, а оценивающих ее отрицательно — *нетерпеливцами*. Специально подчеркиваем: как и во всех предыдущих случаях, термины чисто условные. Но мы решили сделать эту оговорку, так как название *нетерпеливцы* может вызвать ассоциации с такой нередко приписываемой русскому народу особенностью, как нетерпение, желание быстро, не считаясь с реальными возможностями, решать сложные долгосрочные проблемы развития страны. В данном же случае речь идет о **нежелании терпеть**, которое, судя по нашим данным, в массовом сознании от нетерпения жестко отграничено и с сопутствующими ему революционно-кавалерийскими или танковыми атаками на историю, никак не связано.

Уже одно то, что нетерпение считают нашей самобытной особенностью всего 17% опрошенных, заставляет усомниться в справедливости сохранившегося до сих пор в интеллигентских кругах представления о народе, ссылками на который интеллигенция склонна нередко объяснять и оправдывать свой собственный революционный радикализм. Но еще важнее другое: большинство людей, надеяющихся этим качеством россиян, видит в нем недостаток (таких 12%) и почти никто не считает его достоинством. Так вот, в данном отношении наши *терпеливцы* почти ничем не отличаются ни от тех, кого мы, не найдя более удачного слова, назвали *нетерпеливцами*, ни от населения в целом. Нежелание терпеть, повторим еще раз, — это сегодня в представлениях людей отнюдь не синоним нетерпения, равно как и готовность терпеть — отнюдь не показатель обостренной реакции на него: это вещи как бы из разного ряда, в массовом сознании они почти никак друг с другом не соотносятся.

Сочетается же в нем совсем другое. Наш опрос выявил вполне определенную закономерность: люди, положительно оценивающие терпеливость, заметно выделяются своим благосклонным отношением еще к трем особенностям своих сограждан, а именно — к жизнестойкости (способности вопреки притеснениям и запретам власти развивать свои способности, стремиться к знаниям и творчеству), привычке довольствоваться малым (скромности потребностей) и, что оказалось для нас несколько неожиданным, — к склонности россиян переводить официально–деловые отношения в неформально–дружеские. В составе *терпеливцев* почти в полтора раза выше, чем в среднем по населению, процент людей, положительно оценивающих способность народа к саморазвитию вопреки власти (назовем их условно *вопрекистами*) и почти в два раза больше доля тех, кто с симпатией относится к привычке россиян довольствоваться малым (в дальнейшем — *скромники*) или к их склонности переводить официальные связи в неформальные (в дальнейшем — *неформалы*). Еще выразительнее выглядят в ряде случаев различия между *терпеливцами* и *нетерпеливцами*: в рядах первых процент *скромников* и *неформалов* в три с лишним раза выше, чем в рядах вторых!

Что же из этого следует? Можно ли утверждать, что и сегодня, пусть и не во всем народе, но в значительной его части сохраняется обнаруженное в нем славянофилами органическое сочетание терпения, «простоты жизненных потребностей» и тяготения к «общинному единству»? Есть ли у нас основания — вслед за некоторыми исследованиями русского национального характера — утверждать, что старая русская общинность и нынешняя предрасположенность к неформальным связям — это явления с общим корнем? И что может означать восприятие русского долготерпения, предполагающего вроде бы примирение с властью, как чего–то такого, что соотносится с жизнедеятельностью вопреки этой власти?

Начнем с того, что попробуем выяснить, как сочетается сегодня в сознании россиян восприятие терпеливости и довольства малым.

Терпеливцы, нетерпеливцы и скромники

Выяснить это нам кажется чрезвычайно важно. Ведь только в том случае, если терпеливость ассоциируется с довольством малым и осознанным ограничением потребностей, а не с их подавлением из–за невозможности удовлетворить их (славянофилы тут безусловно правы), правомерно говорить не просто о двух положительно оцениваемых самобытных качествах, а об укорененных **ценностях**.

Можно по-разному толковать природу русского долготерпения: и как повышенную восприимчивость россиян к идее христианского смирения (обуздания индивидуальной гордыни), и как воспитанную многовековым опытом способность примирения с нелегкой исторической судьбой народа, и как сформированную тем же опытом готовность безропотно подчиняться государству. Мы не собираемся углубляться в анализ этих и других многочисленных объяснений. Нас сейчас интересует лишь то, что все их сближает, причем только в тех случаях, когда их авторы стоят на **почвеннических** позициях. Сближает же их рассмотрение российской терпеливости не как навязанной извне, а как органически свойственной русскому человеку, как его важной ценности, которая, в свою очередь, могла укорениться и стать неотъемлемой частью его натуры лишь благодаря присущей ему житейской непритязательности и неприхотливости.

Нельзя возвысить и одухотворить терпеливость, не возвышая и не одухотворяя одновременно и готовность довольствоваться малым. Если терпеливость этой психологической опоры лишается, то она лишается и своей самобытно-русской духовной наполненности, утрачивает свою архетипичность и самооценку, обаяние устойчивости и постоянства, приобретая привкус ситуативности: перетерпеть неблагоприятное сегодня ради благополучного завтра, пережить то, что есть, с надеждой на то, что все может быть принципиально иначе, чем есть. Поэтому, повторим, так важно знать, насколько сочетается сегодня благожелательное восприятие русского долготерпения с благосклонным отношением к «простоте жизненных потребностей».

Мы уже отмечали, что такое сочетание имеет место: среди *терпеливцев* процент *скромников*, то есть людей, считающих довольство малым ценным достоянием россиян, заметно выше, чем в среднем по населению, и, добавим, чем в любой из рассмотренных нами почвеннических групп. В этом отношении они — самые последовательные приверженцы славянофильских и близких к ним представлений о русском народе. И наоборот: люди, терпеливость осуждающие, демонстрируют наименьшую склонность возвеличивать скромность, понимаемую как довольство малым, и повышенную предрасположенность к ее отторжению.

Это вроде бы должно свидетельствовать о том, что именно в оценке русского долготерпения обнаруживается сегодня не только наиболее заметный раскол российского общества, но и самый глубокий ценностный водораздел между российским почвенничеством и антипочвенничеством. Будь так, это можно было бы объяснить тем, что само слово «терпеливость» вызывает у людей больше живых ассоциаций с их каждодневным существованием, чем,

скажем, коллективизм или духовность. Но дело обстоит совсем не так: в цифрах этот водораздел выглядит настолько же впечатляющим, насколько и периферийным. Да, в составе *терпеливцев* процент *скромников* в три с лишним раза выше, чем среди *нетерпеливцев*. Однако в том и другом случае речь идет о заведомом меньшинстве (соответственно 22 и 7%). Да, среди *терпеливцев* заметно меньше, чем в рядах *нетерпеливцев*, доля *нескромников*, то есть людей, оценивающих довольство малым отрицательно (соответственно 36 и 49%). Но эти цифры показывают, что и в среде *терпеливцев* довольство малым чаще отвергается, чем возносится на пьедестал.

Таким образом, если отмечавшийся славянофилами органический синтез терпения и «простоты жизненных потребностей» когда-то и имел место, то сегодняшняя народная экспертиза обнаруживает, похоже, лишь его остаточные проявления. Отсутствие же его означает, что русское долготерпение не является теперь жизненной ценностью даже большинства тех, кто по-прежнему считает его важным достоянием россиян. Терпеливость, расторгнувшая союз с довольством малым, — это терпеливость надежды на лучшее, терпеливость ради благополучия, а не во имя консервации неблагополучия; это готовность **временно** примириться с некомфортной жизнью, а не склонность к ее увековечиванию.

Но если терпеливость перестает быть ценностью, то нежелание терпеть само по себе заменить ее не может. А это значит, что нынешний раскол российского общества, рельефнее всего обнаруживающий себя в оценке русского долготерпения, представляет собой что угодно, но только не конфликт ценностей. Скорее всего, мы имеем дело с двумя массовыми **психологическими типами**, представители одного из которых, пусть и временно, но все же готовы терпеть, рассчитывая на лучшее, а представители другого — не хотят (или не могут) даже временно, ибо не верят, наверное, что временное в очередной раз не обернется чем-то постоянным. Это — раскол между непоследовательными, но сохраняющими психологическую устойчивость почвенниками и растерянными антипочвенниками, остро переживающими кризис советских и всех традиционных для России способов психологического приспособления к реальности при необретенности каких-либо других.

Однако обнаруженный нами раскол вряд ли можно считать глубоким. Мы говорили: он свидетельствует о большей или меньшей глубине **кризиса** ценностей, но отнюдь не об их столкновении. Не сопровождается он и принципиальными различиями в политических предпочтениях. *Нетерпеливцы* демонстрируют повышенное, по сравнению с *терпеливцами*, недовольство происходящим в стра-

не и пониженную приспособляемость к постсоветской повседневности. Но за этим несовпадением психологических реакций трудно уловить какие-либо различия в качестве жизни и индивидуальных возможностях для его повышения. Мы пробовали найти истоки выявленного нами раскола в возрастных особенностях, образовательном уровне, размере доходов, но попытки оказались тщетными: во всем этом *терпеливцы* и *нетерпеливцы* выглядят почти одинаково.

Если они чем и отличаются, то не тем, как живут (и на что могут рассчитывать по своим возрастным и образовательным данным), а тем, **где** живут, — в больших городах или в провинции. Мы не склонны умалять значение этого факта, и в своем месте к нему еще вернемся. Однако различия между двумя группами (в составе *терпеливцев* больше, чем в рядах *нетерпеливцев*, жителей крупных промышленных и культурных центров и меньше жителей небольших городов) в данном отношении не столь существенны, чтобы искать в них главную причину обнаруженного нами раскола. Сегодня правомерно говорить лишь о водоразделе между людьми, сохраняющими ощущение личной и общественной перспективы, и людьми, которых оно покинуло или покидает, что и ведет к отторжению традиционных для России психологических компенсаторов, примиряющих с неполноценностью индивидуального и коллективного проживания.

Мы отдаем себе полный отчет в том, что наличие в обществе значительной массы растерянных антипочвенников (а они, напомним, составляют свыше четверти населения) — явление отнюдь не безобидное. Отторжение старой почвы, не сопровождающееся обретением новой, всегда было источником революционного экстремизма. Мы не вправе исключать, что нежелание терпеть, противопоставляемое сегодня русскому долготерпению, может сопровождаться реанимацией русского нетерпения, столь восприимчивого, как мы знаем, к радикальным политическим идеологиям. Но пока мы ничего такого в сознании растерянных антипочвенников (они же *нетерпеливцы*) не обнаруживаем.

Переживая кризис приспособляемости к постсоветской повседневности, они в то же время крайне настороженно относятся к любому намеку на возвращение советских политических и идеологических порядков. Лишь 11% их представителей полагают, что России было бы полезно вернуться к социалистическому строю, что меньше, чем среди *терпеливцев* и чем среди населения в целом. Но они не проявляют особого интереса не только к советско-коммунистической идеологии и соответствующей ей политической практике. Не обнаруживают они, как правило, такого интереса и к идеологии радикально-националистической; во всяком случае,

к лозунгу «Россия для русских!» они не более восприимчивы, чем российское общество в целом, а общество в целом, как мы говорили, относится к такого рода лозунгам весьма сдержанно.

Наши растерянные антипочвенники скорее инертны, чем агрессивны, скорее деидеологизированы, чем идеологизированы, что лишь оттеняет их растерянность перед проблемами, с которыми они столкнулись. Мы не знаем, как поведут они себя завтра. Но сегодня дело обстоит именно так, а не иначе.

Итак, природа раскола, обнаруженного нами в оценках терпеливости, — не столько социально-экономическая или политико-идеологическая, сколько психологическая. И поэтому мы вправе задать вопрос: а может быть, корни этого раскола надо искать не в постсоветской, а в советской эпохе? Может быть, выявленные нами массовые психологические типы существовали и тогда? Предположение, прямо скажем, из разряда рискованных. Хотя бы потому, что оно подталкивает нас к неожиданному выводу: люди, лучше других умевшие приспособляться к социалистической повседневности, лучше приспособляются и к нынешней. Иными словами, они могли терпеливо участвовать в строительстве коммунизма, а теперь готовы столь же терпеливо строить капитализм. А это, в свою очередь, означает, что и коммунизм в их глазах выглядит одетым по западно-капиталистической моде!

Подобные предположения не покажутся, однако, такими уж нелепыми, если вспомнить, что брежневский развитой социализм и был ни чем иным, как коммунистическим аналогом общества массового потребления, когда люди, проживая в самобытно-советской экономической и политической системе, руководствовались уже отнюдь не самобытными, а западными стандартами потребления и когда в их сознание начали проникать западные ценности. К сожалению, наше исследование не позволяет проверить эту версию о прошлых истоках нынешнего общественного раскола сколько-нибудь тщательно. Но кое-какие свидетельства в ее защиту мы можем привести, рассмотрев некоторые особенности мировосприятия людей, объединенных признанием важности самобытного русского долготерпения для судеб страны и условно названных нами *терпеливцами*. Их сознание — зеркало позднесоветской гибридности и — одновременно — ее психологическое воплощение, следы которого сохраняются до сих пор рядом с более свежими следами посткоммунистической эпохи.

В представлениях *терпеливцев* есть немало такого, что позволяет причислять их к почвенническим группам. Они более благосклонно — и по сравнению с населением в целом, и в сопоставлении с *нетерпеливцами* — относятся не только к довольству малым, но и к коллективизму, самоограничению во имя государства и са-

мобытной российской духовности, ассоциируемой с «преобладанием духовных ценностей над материальными». Различия эти, правда, не очень велики и, как правило, не превышают 10%, но они важны не сами по себе, а в сочетании с отчетливо выраженным тяготением *терпеливцев* не к почвенническим, а, наоборот, к антипочвенническим группам во всем, что касается отношения к Западу. Люди, объединенные признанием важности русского долготерпения для судеб страны, в массе своей (66%) хотели бы иметь уровень благосостояния, как в западных странах, а 58% из них желали бы жить, как живут люди на Западе, учитывая все достоинства и недостатки тамошней жизни. Такие настроения тоже проявляются в их среде заметно чаще, чем у их антиподов — *нетерпеливцев* (соответственно 57 и 51%), которые в данном отношении почти не отличаются от населения в целом.

Терпеливцы тем-то и примечательны, что они, как никто, видят в российской самобытности нечто прямо противоположное тому, что видят в ней идеологи отечественного почвенничества, а именно — благоприятные предпосылки для успешного движения в **западном** направлении. Политическое чутье не обманывает нынешних российских антизападников, предпочитающих говорить о коллективизме, справедливости, государственном патриотизме, но остерегающихся включать в реестр высоко чтимых ими самобытных особенностей русского народа его терпеливость. И когда они начинают ее в сердцах поругивать, им тоже не откажешь в проницательности. Мы имеем в виду не одну лишь тактическую выгоду такого умолчания или поругивания. Мы имеем в виду прежде всего то, что апелляции к самобытной терпеливости ради утверждения самобытного антизападничества сегодня не могут найти сочувственного отклика именно в рядах тех, кто видит в ней ценное достояние России и ее народа!

Если раскол в оценках терпеливости свидетельствует о хрупкости одного из важнейших архетипов российского массового сознания (а хрупкий, неустойчивый, утративший способность к постоянному воспроизводству архетип теряет, строго говоря, право на само это имя), то мировосприятие *терпеливцев* свидетельствует, наоборот, о его пластичности, его открытости для наполнения самым разным жизненным смыслом. Истоки же такого мировосприятия есть все основания искать не столько в постсоветской, сколько в позднесоветской эпохе.

Как и представители других почвеннических групп, *терпеливцы* склонны нередко отдавать предпочтение повседневности тех времен перед нынешней. Но они в данном отношении очень заметно отличаются от *коллективистов*, *уравнителей*, *авторитаристов* и *государственников*, в составе которых процент людей, оценивающих

прошлые возможности для индивидуального самоутверждения выше нынешних, в два-два с половиной раза больше, чем доля тех, кто придерживается противоположного мнения. Между тем наши *терпеливцы* в ответах на этот вопрос раскалываются на примерно равные по численности группы: 43% их представителей полагают, что в советский период у человека было больше, чем сейчас, возможностей реализовать себя и почти столько же — 38% — считают, что дело обстоит наоборот. И такой раскол, учитывая западнические ориентации большинства *терпеливцев*, уже сам по себе весьма симптоматичен. Он как раз и свидетельствует о том, что советская и постсоветская повседневность сопоставляются не с точки зрения преимуществ социализма перед капитализмом или наоборот, а с точки зрения того, что **ближе к Западу**, — брежневский развитой социализм или постсоветский недоразвитый капитализм.

Под этим же углом зрения мы склонны рассматривать и политическое поведение данной группы. Перед первым туром президентских выборов 30% ее представителей собирались голосовать за Б. Ельцина — в данном отношении *терпеливцы* не отличаются от большинства антипочвеннических групп. Однако и зюгановцев в их составе было немало (23%), что больше, чем в любой из антипочвеннических групп и заметно больше, чем в некоторых из них. Но это лишь подтверждает сказанное выше: терпеливость утратила свою жесткую архетипичность, она стала пластичной и воспринимается сегодня как приспособляемость к любому жизненному укладу и даже политическому строю.

Для одних (таких сегодня в России большинство) она может означать готовность терпеть нынешнюю антикоммунистическую власть; для других — готовность терпеть власть коммунистическую, если она восстановится; для третьих — примирение с существующим в стране режимом не потому, что он кажется лучшим из возможных на сегодняшний день, а потому, что не закрывает дорогу для легального прихода к власти своим противникам. Но во всех этих случаях люди имеют в виду одно и то же: терпеть — значит надеяться на лучшее, а не примиряться с безнадежностью. Образцы же этого лучшего большинство представителей рассматриваемой группы ищет и находит не в досоветской или советской России, а на Западе. И если даже к власти в стране придут политики, выступающие от имени небесных идеалов против «меркантилизма и вещизма», им придется с такими настроениями считаться, как пришлось, в конце концов, принять их во внимание советским лидерам.

Хотелось бы, чтобы эти настроения имелись в виду и авторами новейших теоретических построений, суть которых сводится к тому,

что России, отвечая на брошенные ей историей вызовы, предстоит пройти через культивирование христианской аскезы — подобно тому, как делал это протестантский Запад в XVI и последующих столетиях. Мы не знаем, можно ли такую аскезу **навязать** россиянам, как не уверены и в том, что навязанная аскеза, лишенная деятельно-практического энтузиазма и вдохновенных приверженцев, способна принести какие-то исторические плоды. Между тем мы точно знаем, что добровольно ее сегодня не примет даже подавляющее большинство тех, кто считает самобытное русское долготерпение полезным для России и впредь.

Терпеливцы демонстрируют желание опереться на российскую самобытность ради достижения того, чего они хотели для страны и для себя лично. Но то, **чего** они хотят, самобытным назвать трудно. И, что самое интересное, это относится и к той их части, в глазах которой терпеливость неотделима от довольства малым. Да, в рассматриваемой нами группе — повышенный процент *скромников*, то есть людей, готовых довольствоваться **низкими** жизненными стандартами. Но следует ли отсюда, что они хотели бы эти стандарты увековечить? Что примирение с ними действительно воспринимается как нечто самоценное, от века данное и изменениям неподвластное, а не как нечто временное и ситуативное?

Задаваться подобными вопросами нас побуждают некоторые особенности самих *скромников*, которые не очень-то похожи на тех убежденно-неприхотливых людей, которыми виделись россияне славянофилам и их последователям. В том-то все и дело, что в своих желаниях *скромники* особой скромностью не отличаются! Достаточно сказать, что более половины из них (55%) хотели бы иметь уровень благосостояния, как сегодня у большинства людей на Западе, между тем как уровнем достатка брежневской эпохи готовы довольствоваться в полтора раза меньше их представителей. О чем это говорит? Позволяет ли отмеченная особенность данной группы утверждать, что терпеливость, даже сочетаясь с готовностью довольствоваться малым, как у большинства *скромников* (почти две трети среди них являются одновременно и *терпеливцами*), вовсе не обязательно становится осознанной жизненной ценностью?

Мы вправе предположить, что сегодня вполне возможно и такое. Это значит, что представления людей об общем устройстве жизни, о том, «как надо», могут разойтись с их собственными желаниями, с тем, «что хочется». Но разрыв между «надо» и «хочу» — это прямое следствие несовпадения «хочу» и «могу», это осознанное или неосознанное желание приспособить жизнь (не только свою) к своему индивидуальному «могу».

Такие предположения уместны хотя бы потому, что по своему возрастному составу и образовательному уровню, по своим поли-

тическим и идеологическим ориентациям (отношение к советскому прошлому, поведение на выборах) *скромники*, в отличие от *терпеливцев*, ближе к *коллективистам*, *уравнителям*, *авторитаристам* и *государственникам*, чем к их антиподам. Специфическая же их особенность заключается в том, что при высоком уровне собственных притязаний, проявляющихся в ориентации большинства из них на западные стандарты потребления, они склонны компенсировать недостижимость для себя этих стандартов романтизацией неприятности и самоограничения, как обязательной для всех россиян самобытной нормы. Конфликт между «хочу» и «могу» решается в пользу «могу» приданием ему статуса всеобщности.

При желании можно, конечно, уловить в этом идущий снизу робкий запрос на всеобщую аскезу. Однако к западноевропейскому XVI веку, когда идея производительной аскезы шла не от слабых, а от сильных, он не имеет никакого отношения. Скорее всего, мы имеем здесь дело не с идеалом сознательного самоограничения, а с идеей ограничения других и снижения их жизненных стандартов до доступного сегодня *скромникам* уровня.

Но желание приспособить жизнь других людей к своим собственным ограниченным возможностям требует моральной санкции; в противном случае эти другие добровольно довольствоваться малым могут и не согласиться. Не удивительно поэтому, что наши *скромники* проявляют повышенную восприимчивость к тем самобытным особенностям русского народа, в которых проявляется его предрасположенность к особому типу человеческих взаимоотношений, смягчающих жесткость рационально–функциональных связей и зависимостей доброжелательностью и эмоциональной насыщенностью личных контактов.

Из всех рассмотренных и еще не рассмотренных нами почвеннических групп люди, объединенные симпатиями к самобытно–русскому довольству малым, выделяются наибольшей долей тех, кто видит превосходство наших сограждан над западными людьми в российской душевности (таких в их рядах 54% при 44% в среднем по населению). Выделяются они и своим восприятием такой особенности россиян, как их склонность переводить официально–деловые отношения в неформально–дружеские: 22% *скромников* оценивают эту особенность положительно, что в два с лишним раза превышает соответствующий показатель по населению в целом. Цифра, конечно, все равно не очень впечатляющая, но мы, тем не менее, хотели бы привлечь к ней внимание. Дело в том, что повышенная концентрация сторонников трансформации официальных отношений в приятельские наблюдается и в составе *терпеливцев*. Более того: последние в данном случае отличаются от *нетерпеливцев* не менее заметно, чем в отношении к довольству малым!

Мы, таким образом, вплотную подошли к совершенно новому сюжету, который и составит содержание двух последующих разделов данной главы. Забегая вперед, можем сказать: возвращая нас к теме общественного раскола, о котором говорилось выше, он кое-чем обогатит и наши представления о самом этом расколе, его социальной и психологической природе.

Терпеливцы и неформалы

В обществе, не привыкшем жить по закону, особую роль играют доверительные личные отношения между людьми. «Хороший человек», «наш человек», «свой человек» — эти характеристики в таком обществе чрезвычайно существенны, они гораздо важнее характеристик функциональных или профессиональных. Разумеется, связи и контакты (в том числе и деловые), основанные на личном доверии, широко распространены и в странах с давними и глубокими традициями законодательного регулирования жизни, но они там как бы надстраиваются над юридическими отношениями, компенсируя их безличность. Если же такие традиции слабы, то подобные связи и контакты приобретают самостоятельное, а то и самодовлеющее значение в упорядочивании жизни; они компенсируют не безличность законодательного регулирования, а его неукорененность и неэффективность, не надстраиваются над ним, а заменяют его, заполняя собой неохваченное им пространство человеческих взаимоотношений.

Именно в таком обществе закону нередко противопоставляется совесть, как нечто более высокое и надежное, а потому оправдывающее его несоблюдение. Мы уже отмечали, что в России это противопоставление культивировалось издавна и ссылались на славянофилов, которые в противовес «формальной», «внешней» и «принудительной» законности, упорядочивающей проживание западных народов, выдвигали самобытное русское упорядочивание «по обычаю, совести и правде». И эта особенность рассматривалась ими опять же не изолированно, а в совокупности с терпением, «простотой жизненных потребностей», «общинным единством» и всем тем, о чем мы уже неоднократно говорили.

Известно, чем обернулось для страны, осуществлявшей форсированное самопревращение из сельской в индустриально-городскую, это преимущество «обычая, совести и правды» над «принудительным законом». Оно обернулось торжеством принудительности без закона, заменой его революционной целесообразностью, слиянием «совести и правды» с коммунистической идеологией и «преданностью делу партии». Однако в последние десятилетия советс-

кой эпохи эти единые для всех «совесть и правда» свою регулирующую роль все больше утрачивали, уступая место групповой морали, которая противопоставила партийно-государственной свои собственные (тоже, кстати, единые для всех) неписанные нормы; они-то и позволяли миллионам людей приспособляться к массовому городскому быту, возникшему при советской власти и благодаря ей, но не поддающемуся привычным для нее методам упорядочивания жизни. Рядом с официальными отношениями, а точнее — внутри них начали укрепляться отношения неформальные, личные, восполнявшие растущую неэффективность административно-идеологической принудительности и невозможность в условиях плановой экономики и хозяйственной несвободы совместить ее с принудительностью юридической.

Мы еще не забыли эту повседневную позднесоветскую практику, когда многие не только житейские, но и деловые вопросы решались с помощью «бутылки», ставшей универсальным знаком и символом взаимного обмена услугами. Это было совсем не то, что в других странах, где партнерские контакты тоже начинаются нередко с ужина или ленча. Там личные связи — продолжение функциональных, подчиненных определенным правилам и нормам. У нас же было нечто совсем другое: персональные договоренности, скрепленные «бутылкой», а у людей посолиднее — сауной или охотой, позволяли, в противовес официальным правилам и нормам, создавать свои собственные. А это, в свою очередь, приводило к размыванию границ между персональными и функциональными отношениями: ведь единственным принципом, гарантирующим соблюдение взаимных договоренностей, могла служить только личная взаимозависимость друг от друга партнеров, повязанных ненормативностью самих своих обязательств.

Позднесоветские способы приспособления к жизненной реальности можно оценивать по-разному. Можно рассматривать их как проявление исчерпанности многовековых попыток упорядочить жизнь на самобытно-русский манер, противопоставляя западной юридической принудительности русские «совесть и правду». Но вполне допустима и принципиально иная логика, которой следуют многие современные российские почвенники. Склонность советского человека переводить официально-деловые отношения в неформально-дружеские они предпочитают толковать как органически присущее россиянам тяготение к духу общинности, к собственной ей нерасчлененности личных и функциональных связей, тяготение настолько сильное и неистребимое, что оно оказалось способным прорасти даже сквозь идеологический асфальт, которым покрыла Россию, превращая ее из сельской в городскую, коммунистическая система.

Странно, но почему-то под этим углом зрения никому до сих пор не пришло в голову рассмотреть русское долготерпение: ведь прорастание сквозь асфальт быстро происходить не может, тут как раз и требуется привычка не столько ценить время, сколько смиренная готовность жертвовать им ради достижения конечного результата. Мы будем исходить из того, что такой ход мысли вполне возможен и постараемся заранее принять его во внимание. Тем более, что он вполне соотносится с теми доводами в защиту самобытно-российских способов упорядочивания жизни, которые черпаются из нынешних неудачных попыток обеспечить ее регулирование на юридически-правовой основе. Предполагается, что для русского человека эта «формальная» и «внешняя» принудительность остается чуждой, что он по-прежнему норовит обойти ее, воспроизводя в разветвленной сети нынешних неформально-личных связей позднесоветские способы приспособления к реальности, уходящие своими корнями в традицию отечественной общинности. Предполагается также, что идеалом остается при этом обустройство жизни в соответствии не с обязательным для всех законом, а с «совестью и правдой», которые только и могут обеспечить в России порядок, свободу и их органическое друг с другом сочетание.

Посмотрим, насколько выдерживают такие предположения проверку сегодняшней народной экспертизой. Подтверждает ли она мнение о том, что наши современники приспособляются к постсоветской юридической неупорядоченности на самобытно-российский (общинный) манер? Есть ли основания утверждать, что они используют позднесоветские способы такого приспособления, компенсируя законодательную неотрегулированность личными связями, господствующими над служебными? Помогают ли им подобные связи легче переносить нынешние трудности, увеличивают ли потенциал их исторического терпения? Наконец, как они вообще воспринимаются и оцениваются? Как благо или как зло? Как способ временной компенсации неукорененности правовых отношений или как нечто такое, что хорошо бы увековечить? И если увековечить, то имеет ли это какое-то отношение к идеалу «совести и правды», которые выше закона?

Напомним, что среди особенностей россиян, которые было предложено оценить респондентам, была и склонность наших сограждан переводить деловые, официальные отношения в дружеские, неформальные. И уже одно то, что самобытной чертой народа ее назвали сравнительно немногие — всего 29% опрошенных, заставляет усомниться в органической предрасположенности россиян к тому типу отношений, который получил столь широкое распространение в эпоху брежневского «застоя». К тому же

положительно эту черту оценивает почти в три раза меньше людей, а именно — 10% населения (мы договорились называть их *неформалами*), между тем, как 14% наших респондентов (назовем их условно *формалами*) выставили ей отрицательные оценки. Таким образом, и в данном случае обнаруживается раскол, который представляет значительный интерес, в том числе и потому, что имеет прямое отношение к тому расколу между *терпеливцами* и *нетерпеливцами*, о котором говорилось выше.

Но сказать «имеет отношение» — значит сказать слишком мало. Дело в том, что *неформалы* и *формалы* находятся в непосредственной близости от линии «большого» раскола, и потому рассмотрение их особенностей позволит нам не только глубже проникнуть в его природу, но и выявить, в каких направлениях современное массовое сознание ищет перспективы его преодоления. Вот почему, в свою очередь, мы отойдем на этот раз от принятой нами схемы изложения и проанализируем жизнеощущение антипочвеннической группы (*формалов*) не менее тщательно, чем жизнеощущение почвенников — *неформалов*.

Начнем, однако, с последних — хотя бы потому, что читатель в какой-то степени уже подготовлен к восприятию их умонастроенный. Мы уже говорили, в частности, о повышенной концентрации *неформалов* в составе *терпеливцев*, среди которых доля *неформалов* в три с лишним раза больше, чем в рядах *нетерпеливцев*. Правда, в цифрах это процентное соотношение (18:5) выглядит отнюдь не столь впечатляющим. Но это позволяет все же говорить об определенной зависимости, о том, что готовность терпеть лучше сочетается сегодня в массовом сознании с предрасположенностью к переводу официальных отношений в неформальные, чем отсутствие такой готовности. А это может означать, что русское долготерпение нередко связано в представлениях людей не с индивидуальным, а с совместно-компанейским проживанием, размывающим границы между частной и деловой жизнью. Если кому-то нравится называть такую связь духом русской общинности, то мы возражать на будем. Наша задача — зафиксировать факт, а не отмахиваться от него, каким бы он ни выглядел мелким.

Правомерно ли однако усматривать в этом какую-то тенденцию? Учитывая, что любая тенденция обнаруживает себя первоначально в малом (иначе она уже не тенденция, а устоявшаяся реальность), то — вполне правомерно. Правда, при одном условии: в представлениях *неформалов*, учитывая их малочисленность, она должна проявиться несравнимо отчетливее, чем в рядах *терпеливцев*, которых в современной России в три с лишним раза больше. И ведь проявляется же! Большинство *неформалов* (62%, что почти в два раза больше, чем в среднем по населению) одновременно

являются и *терпеливцами*. Показательно и то, что *нетерпеливцев* в составе *неформалов* почти вдвое меньше, чем среди населения в целом (всего 15%). Таким образом, подмеченный славянофилами самобытно–русский синтез терпения и тяготения к «общинному единству» можно обнаружить и сегодня. По крайней мере — его следы. Однако в самом этом синтезе просматривается и нечто такое, что ставит его самобытность под сомнение и даже разрушает его изнутри. Дело в том, что отмеченная нами характерная особенность *терпеливцев*, а именно — их повышенная восприимчивость не только к почвенническим, но и к **западным** ценностям, у *неформалов* проявляется еще ярче и выразительнее!

С одной стороны, в их рядах явно больше *коллективистов, уравнителей, государственников*, «скромников» и почитателей самобытной российской духовности, причем разница по сравнению с *терпеливцами* нередко достигает 10–14%, а по сравнению с населением в целом не опускается ниже 15–20%. С другой стороны, большинство *неформалов* (66%) хотели бы иметь западный уровень благосостояния, а 59% декларируют желание жить, как живет сегодня большинство людей на Западе, принимая во внимание все плюсы и минусы той жизни. У *терпеливцев* мы наблюдали то же самое с точностью почти до процента. Что же касается пересадки в отечественную почву западных экономических и политических принципов и механизмов, то тут *неформалы* демонстрируют даже больше определенности и последовательности: 58% их представителей считают, что для выхода страны из кризиса россияне должны научиться жить и работать в условиях частной собственности (среди *терпеливцев* — 52%), а 47% хотели бы видеть Россию страной с рыночной экономикой, демократическими свободами и соблюдением прав человека (среди *терпеливцев* — 42%).

Чем же объясняется это странное, ни в одной другой группе столь явно не выраженное, взаимопереплетение советских и западных ценностей, реформаторской устремленности вперед с оглядкой назад, духа общинности с духом ее отрицания?

Первое, что приходит на ум, — *неформалы* рассматривают нынешний период, как прямое продолжение брежневского, когда под видом коммунизма или развитого социализма было дозволено строить западный капитализм в отдельно взятых квартирах, чему в немалой мере и способствовала позднесоветская размытость границ между частной и деловой жизнью, а точнее — открывшиеся тогда возможности максимального приспособления деловых отношений к личным посредством придания первым неформального статуса. Если так, то в лице *неформалов* мы имеем дело с западниками доперестроечных и перестроечных времен; они могут придавать сегодня столь большое значение советским ценно-

стям лишь постольку, поскольку имеют в виду не официальные, а сложившиеся в позднесоветскую эпоху неофициальные отношения между людьми, где был и свой коллективизм (на службе у частных и групповых интересов), свои справедливость, духовность и даже терпеливость (в созидании своего индивидуально-домашнего Запада). Все это могло казаться вполне совместимым с идеологией личного успеха, который воспринимался производным от инициативы и энергии человека, от его умения создавать и подключаться к созданным другими неформальным связям.

Подобные предположения соблазнительны уже потому, что помогают объяснить и некоторые другие особенности интересующей нас группы, заметно выделяющие ее и из общей массы опрошенных, и на фоне всех других групп — как почвеннических, так и антипочвеннических. Если настоящее в глазах ее представителей — прямое продолжение прошлого, памятного им зависимостью жизненного успеха от личной предприимчивости в налаживании неформальных контактов, то понятнее становится и их восприятие самого настоящего. Понятно, скажем, почему они чаще, чем кто бы то ни было, склонны считать, что и сегодня люди добиваются успеха, прежде всего благодаря «предприимчивости, особым деловым качествам» (так думают 67% *неформалов* при 55% в среднем по населению), а также «покровительству, содействию друзей, знакомых» (59% при 45% по населению в целом). Еще больше выделяются они своим пониманием того, что покровительство по отношению к людям, нужными деловыми качествами не обладающим, сегодня если и имеет место, то в будущем на него лучше не рассчитывать. Поэтому, возможно, 70% представителей данной группы (при 52% среди населения в целом) хотели бы видеть в своих детях самостоятельность, способность самим принимать важные жизненные решения.

И все же наши предположения, при всей своей соблазнительности и даже некоторой убедительности, скорее всего не имеют под собой достаточно серьезных оснований. Дело в том, что *неформалы*, рассматривая настоящее, как продолжение прошлого, отнюдь не всегда и не во всем склонны отдавать ему перед этим прошлым предпочтение. Похоже, что навыки приспособления к позднесоветской реальности многие из них сегодня использовать не могут или это дается им труднее, чем раньше. Иначе нелегко объяснить, почему они, подобно *терпеливцам*, раскалываются, когда речь заходит о возможностях индивидуального самоутверждения и нахождения своего места в жизни в советские и постсоветские времена: 43% из них отдают преимущество первым и 39% — вторым. Иначе трудно понять и политическое поведение *неформалов*, не вполне соответствующее их отчетливо выраженному за-

падничеству и преобладающим в их среде реформаторским настроениям: перед первым туром президентских выборов 26% их представителей собирались голосовать за Б. Ельцина, но лишь немногим меньше (22%) — за антизападника Г. Зюганова.

И тут мы подходим едва ли не к самому главному. Скорее всего многие *неформалы* видят в постсоветской повседневности не только продолжение позднесоветской, но и ее отрицание, причем не в одном лишь привычном нам антикоммунистическом смысле; чего-то важного из того, что было, им, судя по всему, сегодня не хватает. Чего же именно? Предприимчивость вроде бы поощряется теперь открыто, личные связи по-прежнему остались одним из основных капиталов, обеспечивающих успех, и наши *неформалы* замечают это чаще и ценят больше, чем кто бы то ни было. В чем же дело?

Дело, очевидно, в том, что в использовании сохранившихся старых и появившихся новых возможностей они испытывают затруднения. Все, чего хочется, можно, но воспользоваться этим «можно» столь же успешно, как раньше, — нельзя! А что было раньше? Раньше были коллективизм, справедливость, духовность, вознаграждавшаяся успехом терпеливость и преданность граждан государству, тоже не остававшаяся без вознаграждения. Была, говоря иначе, советская **официальность**, внутри которой (и используя которую!) неформальные связи только и могли иметь смысл, были единое «мы» и «общий строй», находясь в котором, как теперь выясняется, многим было легче строить западный капитализм для себя и своей семьи, чем после того, как строй распался, и каждый оказался наедине с собой.

Но ведь это то же самое, что мы могли наблюдать и в других почвеннических группах: многие люди становятся почвенниками не вопреки, а благодаря своему западничеству, для которого в постсоветской реальности они не находят столь же благодатной почвы, как в советской. *Неформалы* же тем-то и интересны, что данная тенденция проявляется в их сознании намного ярче и рельефнее, чем в сознании других; можно сказать, что они представляют собой ее предельное, на сегодняшний день, олицетворение и воплощение. Но почему все-таки именно они? Почему приверженность неформальным связям, которые, как они сами признают, никуда не исчезли, не только не помогают им забыть былой «общий строй», но и обостряет ностальгию по нему?

Выше мы уже говорили о взаимопопустительстве «верхов» и «низов», которое делает нынешнюю систему общественных отношений прямым продолжением системы, сложившейся в брежневскую эпоху. Говорили мы и о том, что главное отличие постсоветского взаимопопустительства от позднесоветского заключается в его неупо-

рядоченности. Раньше оно скреплялось государством; у него все находились на службе, и оно как раз и было той жесткой системной рамкой, внутри которой осуществлялся взаимообмен личными и лично–деловыми услугами. Об этом упорядоченном взаимопопустительстве, позволявшем удовлетворять частные и групповые интересы посредством приватизации отдельных сегментов официально–государственной сферы (или, что то же самое, перевода служебно-деловых отношений в приятельские), и вспоминают, похоже, сегодня с теплым чувством наши *неформалы*.

Но чем все же не устраивает их взаимопопустительство неупорядоченное? Мы уже высказывали предположение (оно, разумеется, нуждается в самой тщательной проверке), что распад позднесоветской тоталитарно–анархической гибридности сопровождается значительным сужением круга людей, которые могут использовать привычные по советским временам способы приспособления к реальности. «Старые» русские, решавшие свои проблемы в сауне или на охоте, могут делать это и сейчас, равно как и пополнившие их ряды русские «новые». Однако статус «бутылки», как всеобщего и общедоступного эквивалента любой услуги, теперь совсем не тот, что раньше. Позднесоветские способы строительства основ западной цивилизации в отдельно взятых квартирах, бывшие относительно массовыми, становятся все более элитарными, превращаются в своего рода привилегии для избранных.

Не удивительно поэтому, что подавляющее большинство россиян не обнаруживает сегодня желания наделять своих сограждан таким самобытным качеством, как склонность переводить деловые отношения в приятельские: не видят они вокруг себя реальных проявлений этой русской «общинности», а если и видят, то чувствуют себя из нее выпавшими. Не удивительно и то, что люди, которые не только обнаруживают эту склонность в народе, но и высоко ее оценивают, столь ярко выделяются на фоне других особенностями своего мировосприятия. Они хотели бы упорядочить постсоветскую реальность, соединив ее с позднесоветской гибридностью, уравновешивавшей государственность и анархию, сохранив при этом западный (рыночно–демократический) вектор развития. Понятно, что в результате в их сознании мог образоваться лишь еще более сложный многосоставный гибрид, в котором мы обнаруживаем помимо прочего, и отчетливо выраженную **либерально–правовую** составляющую.

Но именно это и делает *неформалов*, олицетворяющих разочарованное советское западничество, чрезвычайно интересными. С одной стороны, они хотели бы обуздать постсоветскую анархию на позднесоветский манер, вернув былой статус почвенническим

ценностям и снова загнав саму эту анархию, не устраняя ее полностью, в государственные рамки, подобные тем, что существовали в брежневскую эпоху. Показательно, что в составе *неформалов* — наивысший, по сравнению со всеми рассмотренными нами группами, процент *государственников* (51% при 31% в среднем по населению). С другой стороны, они явно тяготеют к юридическому, а не тоталитарно–идеологическому упорядочиванию жизни. Доля сторонников реставрации социалистического строя в их составе меньше, чем в большинстве почвеннических групп. Вместе с тем почти две трети их представителей (64% при 51% по населению в целом) считают, что для выхода страны из кризиса россияне должны приобрести привычку к порядку и соблюдению законов. Заметно выделяется эта группа и склонностью винить своих сограждан в отсутствии законопослушания: 46% ее представителей (при 24% по населению в целом) среди негативных самобытных особенностей россиян отметили их предрасположенность к решению своих жизненных проблем в обход закона.

Нельзя, конечно, исключать, что само представление о законности во многом навеяно в данном случае воспоминаниями о прозрачных, удобных и казавшихся, возможно, вполне законными правилами игры, установившихся в брежневскую эпоху и сохранявшихся на всем протяжении горбачевской перестройки. Но нам важнее сейчас другое: свойственное разочарованным советским западникам желание вернуть неформальные отношения, пронизывавшие позднекоммунистическую официальность, ничего общего не имеет с приверженностью почвенническому принципу, согласно которому «совесть и правда» выше закона. Это не значит, что моральный пафос в оценке советской и постсоветской реальности чужд *неформалам* вообще. Но он у них не довлеет над всем остальным и к тому же свойственен им меньше, чем другим.

Сказанное вполне подтверждается расшифровкой *неформалами* такой ценности, как свобода; в данном отношении они тоже резко выделяются и среди населения в целом, и среди всех других рассмотренных нами групп. Напомним, что самым распространенным в сегодняшнем российском обществе является представление о свободе, как о возможности делать все, что не противоречит общепринятым моральным нормам. Что касается *неформалов*, то у них это представление отодвинуто на четвертое место! На первые же два здесь выдвинулись «независимость частной жизни человека от государства» (59% разделяющих эту точку зрения при 36% в среднем по населению) и «возможность делать все то, что не запрещено законом» (58% при 48% по населению в целом).

Эти данные представляются нам чрезвычайно существенными. Ни в одной из рассмотренных нами почвеннических и антипочвен-

нических групп не находим мы столь высоких оценок независимости частной жизни от государства, ни в одной из них, за исключением *антиавторитаристов*, не придается такого значения юридическим ограничителям свободы. Но это значит, что наши *неформалы*, будучи почвенниками, ближе к либеральному миропониманию, чем кто бы то ни было! Это значит, что они, как никто, сумели преодолеть позднесоветскую тоталитарно-анархическую гибридность и вырваться за ее пределы. И при всем том, они же, как мало кто, склонны оглядываться назад и искать точки опоры во временах той же самой гибридности! Но именно это и делает их самым ярким воплощением тенденции, которую мы зафиксировали, рассматривая мировоззрение *терпеливцев*.

Позднесоветским разочарованным западникам не чужд пафос экономического и политического реформаторства; наоборот, они восприимчивы к нему больше, чем многие другие. Но они острее других реагируют и на нелиберальность постсоветской общественной практики, проявляющуюся в ее юридической неупорядоченности, а главное — в необеспеченности той самой независимости частной жизни от государства, которое для *неформалов* превыше всего. Зависимыми же от него они чувствуют себя не потому, что испытывают большее, чем другие, давление с его стороны, а потому, что оно не только не гарантирует соблюдение тех прав и свобод, которые провозгласило, но нередко само же и ущемляет их. Это — зависимость незащищенных от защитника, который не справляется, а то и просто пренебрегает своими обязанностями. Характерно, что именно *неформалы* чаще, чем кто бы то ни было, склонны винить нынешние власти в попрании права человека на жизнь (таких среди них 46% при 30% по населению в целом) и права на защиту чести и достоинства личности (соответственно 69 и 54%).

Все это вовсе не означает, что разочарованные западники хуже, чем кто бы то ни было, приспособляются к постсоветским реальностям. Наоборот, они приспособляются лучше, чем представители других почвеннических групп. Но они, похоже, больше других и ждали от перемен, надеясь, что они принесут им новые возможности, сохранив все старые. Между тем многое из того, к чему они привыкли и чем дорожат, исчезло или стало малодоступным, многие прежние связи распались, не будучи ничем компенсированными. Отсюда и главная особенность рассмотренной группы: движение вперед, утверждение в России либеральных ценностей ее представители видят в **восстановлении преемственной связи с позднесоветским образом жизни и позднесоветской упорядоченностью**. Эта особенность и делает *неформалов* самым выразительным воплощением тенденции, обнаруженной нами — в более бледном и размытом виде — в мировосприятии *терпеливцев*.

В том и другом случае речь идет об определенном и достаточно массовом психологическом типе. Но если у *терпеливцев* особенность их психологии почти никак не соотносится с их социально-демографическими и прочими характеристиками, то у *неформалов* такая зависимость просматривается уже достаточно отчетливо. 60% их состава — квалифицированные специалисты (21% с высшим образованием и 39% — со средним специальным); в рядах *терпеливцев* таковых 53%. Только 19% *неформалов* старше 55 лет, между тем как среди *терпеливцев* — 27%. Но если принять во внимание близость умонастроений представителей этих групп, если вспомнить, что подавляющее большинство *неформалов* входит одновременно и в состав *терпеливцев*, то мы вправе предположить, что основная линия обнаруженного нами раскола проходит сегодня не между молодыми и старыми, образованными и необразованными, а между разными группами высокообразованных и относительно молодых людей, принадлежащих к различным психологическим типам.

Это предположение легко проверить. Если оно не беспочвено, то и антиподы *неформалов*, неодобрительно отозвавшиеся о склонности россиян переводить деловые отношения в приятельские (мы, напомним, назвали их *формалами*), должны быть близки к *неформалам* по своим возрастным и образовательным характеристикам. Остается лишь выяснить, так ли это на самом деле.

Те же и формалы

Познакомившись с соответствующими данными, мы можем убедиться, что это действительно так. «Формалы» тоже заметно выделяются своим качественным составом. Каждый четвертый из них имеет высшее образование (по этому показателю они лидируют), почти каждый третий — среднее специальное, а процент лиц с незаконченным средним образованием в их составе самый низкий. Среди них еще меньше, чем среди *неформалов* и чем в любой другой группе доля людей старше 55 лет - всего 15%. Таким образом, и в данном случае мы имеем дело с группой людей, тон в которой задают квалифицированные специалисты, находящиеся, как правило, в активном возрасте, но которые, вместе с тем, категорически не приемлют столь привлекательный в глазах *неформалов* самобытно-российский перевод официально-деловых отношений в приятельские или дружеские.

Вправе ли мы, однако, утверждать, что *формалы* столь же близко, как и *неформалы*, находятся к линии выявленного нами раскола между *терпеливцами* и *нетерпеливцами*, но — по другую сто-

рону от этой линии? Да, вправде, хотя и с некоторыми оговорками. С одной стороны, процент *терпеливцев* в составе *формалов* в полтора с лишним раза ниже, чем среди *неформалов*, а процент *не-терпеливцев* — в два с половиной раза выше. С другой — тех и других в рассматриваемой группе довольно много (по 38%), чтобы говорить о какой-то явной и однозначной, как в случае с *неформалами*, тенденции. *Формалы* находятся не по другую сторону от линии «большого раскола», а по **обе** ее стороны; эта линия именно через них и проходит!

Что же из этого следует? Отсюда вроде бы должно следовать, что способы упорядочивания постсоветской жизни они ищут вообще не в той плоскости, в которой пытаются найти их *терпеливцы* и *неформалы*. Вместе с тем, наших *формалов* не очень устраивает, похоже, и пассивно-неопределенная позиция *нетерпеливцев*, отвергающих русское долготерпение, но не знающих, чем заменить его, и пребывающих поэтому в прострации. *Формалы* ищут нечто принципиально иное, ищут систему ценностей, способную возвыситься над исчерпавшей свое ценностное содержание дилеммой между готовностью терпеть и желанием сдать такую готовность в исторический архив. Уже одно это не может не вызывать повышенного интереса к их мировоззрению и олицетворяемой ими тенденции.

Формалы не меньше, а даже больше, чем *неформалы*, обеспокоены нынешней неупорядоченностью. Но они, в отличие от своих антиподов, не склонны оглядываться назад; позднесоветское упорядоченное взаимопопустительство «верхов» и «низов» с сопутствовавшим ему особым типом связей между людьми вызывает у них, судя по всему, такую же неприязнь, как и взаимопопустительство нынешнее. Перевод деловых отношений в приятельские — это, как можно предположить, и есть в их глазах самое наглядное проявление неупорядоченности, симптом не столько стабильности, сколько распада, когда личные связи приобретают самоценность, становятся единственным мериллом жизненного успеха, мериллом, перед которым профессиональные способности и деловые качества отступают на задний план, становятся чем-то второстепенным и малозначащим.

Поэтому и волнует их в первую очередь не то, что с прошлым сегодня не обнаруживается должной преемственности, а то, что преемственности этой слишком много. *Формалы*, как никто, склонны усматривать причину переживаемых страной трудностей в том, что реформы проводят в своих интересах бывшие партийные и государственные чиновники: так считает 69% их представителей при 55% в среднем по населению. В сохраняющейся преемственности с советским прошлым и ищут они, прежде всего, главный ис-

точник постсоветской неупорядоченности и криминализации, на которые реагируют острее и болезненнее, чем кто бы то ни было.

Эту мировоззренческую призму, сквозь которую представители интересующей нас группы смотрят на нынешний беспорядок, надо постоянно иметь в виду, анализируя особенности их сознания, заметно выделяющие их на общем фоне.

Формалы чаще, чем кто бы то ни было, включая *неформалов*, в числе предпосылок выхода страны из кризиса называют приобретение россиянами привычки к порядку и соблюдению законов (таких в данной группе 72%, что почти в полтора раза больше, чем в среднем по населению). Критичнее всех оценивают они и нынешний уровень правосознания своих сограждан: 50% их представителей (в два с лишним раза больше, чем среди населения в целом) считают отрицательной особенностью россиян их склонность решать свои проблемы в обход закона. Наконец, значительная часть *формалов* (41%) отмечает криминальную природу любого преуспевания в современной России. Интересно, что в этом отношении *формалы* делят лидерство с *авторитаристами*, то есть с теми, кто склонен ставить обеспеченность порядка в стране выше политических свобод.

Отсюда однако вовсе не следует, что представители рассматриваемой группы тяготеют к сближению с почвенниками. Наоборот, они острее других реагируют на постсоветские несообразности именно потому, что смотрят на реальность через увеличивающие их зоркость либерально–западные очки. Поэтому и в советском прошлом они, в отличие от *неформалов*, представляющих собой самую либеральную почвенническую группу, не видят ничего, что заслуживало бы продолжения, а видят лишь то, с чем надо порвать и с чем еще, к их сожалению, окончательно порвать не удалось. И это опять–таки надо непременно иметь в виду, анализируя любые особенности их мировосприятия, — и те, которые сближают их с другими труппами, и те, которые составляют их своеобразие.

Не отличаясь от *неформалов* своей ориентацией на западные стандарты потребления и западный образ жизни, *формалы* даже на их фоне выделяются своим желанием видеть Россию развивающейся по одной из западных общественно-политических моделей (таких в их рядах 87% при 75% среди *неформалов*). Значительнее в их составе и доля тех, кто считает, что для выхода страны из нынешнего кризиса россиянам предстоит научиться жить и работать в условиях частной собственности и рыночной экономики (63% при 58% среди *неформалов*); в этом отношении они не отличаются от других антипочвеннических групп. Еще больше отделяет *формалов* от *неформалов* поведение на избирательных участках: пе-

ред первым туром президентских выборов в рядах первых ельцинцев было 29%, а зюгановцев почти в два раза меньше (16%).

Возможно, кто-то скажет: 16% коммунистических избирателей — многовато для группы, приверженной либерально-западным ценностям. Не спорим: многовато. Но *формалы* — не просто западники, а западники разочарованные; этим они не отличаются от своих антиподов — *неформалов*. А разочарования всегда сопровождаются политическими метаниями. Но можно смело утверждать: от лидера коммунистов его сторонники в данной группе ждут, что при нем Россия продвинется в сторону Запада дальше, чем при нынешних властях, а не устремится на всех парах назад. Потому что и в прошлом у *формалов*, в отличие от *неформалов*, опыта успешного строительства капитализма в отдельно взятых квартирах, судя по всему, не было, а если было, то значительно меньше. В период брежневского «застоя», когда благополучие человека зависело главным образом от умения ладить с начальством, жить по двойному стандарту и чутья на «нужных людей», они, наверное, чувствовали себя не более уютно, чем сейчас. Отсюда, возможно, и культ законности в их среде: именно она призвана обеспечить такое положение вещей, когда качество жизни определяется только трудом, энергией и способностями людей, их профессионально-служебным соответствием, а не тем, с кем они дружат, какие у них отношения с руководителями и коллегами и насколько удачливо и безнаказанно они могут обходить юридические запреты.

Не может быть западного капитализма в моей квартире, если его нет во всей стране, — вот принцип, который они, похоже, руководствуются в своих суждениях и оценках. Обратная же логика им чужда, и если они видят или слышат, что многие ей успешно следуют, то одобрения с их стороны это вызвать не может. О *формалах*, как ни о ком другом, правомерно сказать, что они — *идейные* западники; капитализм в их глазах — это не столько способ индивидуального проживания, сколько идеальный *общественный строй*, при котором индивидуальные проблемы при наличии соответствующей квалификации и доминировании деловой этики над личными отношениями решаются сами собой.

Перед нами — яркое воплощение принципиально нового явления, которое можно назвать современным *русским* западничеством. В нем улавливаются одновременно и отзвуки зарубежных либеральных влияний, и отголоски советского и досоветского идеализма и максимализма; в нем западные идеи свободы и «принудительной законности» причудливо переплетаются с почвенническими «совестью и правдой». Об этом свидетельствует, в частности, то, как наши *формалы* понимают индивидуальную свободу и какими видят ее границы: среди них больше, чем в любой другой груп-

пе, доля людей, высказавшихся в пользу как юридических ограничений свободы (60% при 48% в среднем по населению), так и ограничений нравственных (соответственно 67 и 52%). Напомним, что у *неформалов*, с их пониженным идеализмом и повышенным прагматизмом, процент озабоченных моральными ограничениями даже ниже, чем в общей массе опрошенных.

И еще один факт: 59% *формалов* (это заметно больше, чем в среднем по населению) считают ценным достоянием россиян их самобытную духовность, причем ее почвенническая интерпретация («преобладание духовных ценностей над материальными») их не смущает и не отпугивает. Если учесть, что у *неформалов* данный показатель почти такой же, если учесть, далее, что представители двух групп руководствуются принципиально разными идеалами человеческих взаимоотношений, то вывод напрашивается сам собой: духовность может соотноситься сегодня как с одухотворением личных связей, подчиняющихся себе функциональные, так и с одухотворением самой функциональности, возвышающим ее над всем, что не имеет прямого отношения к делу и выполнению профессионально–служебных обязанностей. Показательно, что среди *формалов* в полтора раза ниже, чем среди *неформалов* (последние здесь бесспорные лидеры), процент тех, кто основой самобытной российской духовности считает теплоту и сердечность взаимоотношений между людьми.

Да, наши *формалы*, будучи идейными западниками, чем–то похожи на советских идейных антизападников (особенно из интеллигентской среды). Но есть и существенные отличия, и они не сводятся к тому, что общественный строй, в который верят представители интересующей нас группы и который в их глазах как раз и обеспечивает подчинение личных интересов интересам дела, ассоциируется теперь не с коммунизмом, а с капитализмом. Особенность нынешнего идейного западничества, олицетворяемого *формалами*, заключается еще и в том, что оно, надеясь на лучшее будущее, не склонно приносить ему в жертву и настоящее. Этим объясняются оценки, выставленные *формалами* русскому долготерпению и свидетельствующие о том, что готовность терпеть в глазах многих из них выглядит не как достоинство, а как недостаток. Еще более выразительное тому подтверждение — их отношение к довольству малым: 58% их представителей (при 34% по населению в целом) оценивают его отрицательно, причем по данному показателю *формалы* опять–таки заметно опережают почти все почвеннические и антипочвеннические группы, несколько уступая лишь *антиуравнителям*.

Формалы не хотят мириться с необеспеченностью существования, которое, судя по нашим данным, воспринимают сегодня как

скудное, сближаясь в самооценке уровня своего достатка с почвенническими группами. Они не видят смысла в отказе, пусть даже временном, от своих притязаний и хотят иметь то, чего они, по их представлениям, заслуживают, что соответствует их мнению о собственном профессионализме и деловых качествах, но чего сегодня получить не могут. Идеализм, присущий им, питается не представлением о прежнем самобытном самоограничении во имя каких-то высших и общих для всех целей (военных или других), а представлением о таких условиях существования, которые сделают самоограничение ненужным и откроют широкий простор для роста индивидуального благосостояния, определяемого только честным трудом и ничем другим. И. что самое существенное, воплощение своего общественного идеала они не хотят откладывать «на потом», они — в полном соответствии с формулой Эдуарда Бернштейна — хотят ощущать в своей повседневной жизни реальное движение к этому идеалу, а не отодвигать его в заоблачную высь или беспредельную даль в виде очередной столь же манящей, сколь и недостижимой «великой мечты».

Думаем, сказанного выше вполне достаточно, чтобы не зачислять *формалов* в разряд плохих граждан, думающих только о себе и безразличных к судьбам страны и государства. Повторим еще раз: исходная точка отсчета для них — именно страна в целом, а не отдельно взятые квартиры. И если они чем и выделяются, то желанием видеть Россию не только сильной, но и богатой, отдавая себе отчет в том, что бедность и державное величие сегодня несовместимы. Этим они тоже заметно отличаются от всех других групп. Так, 61% *формалов* (при 42% среди населения в целом и 46% среди *неформалов*) считают: для выхода страны из кризиса россияне должны понять, что величие нации определяется не силой оружия и не величиной территории, а прежде всего благосостоянием граждан. Специально обращаем внимание читателя: речь идет о новом, не традиционном для страны понимании *ее* величия, о новом общественном строе, способном его обеспечить, а не о частном благополучии, безразличном к тому, что со страной происходит. Этого-то наши *формалы* как раз и не приемлют, это-то и отвращает их от того типа человеческих связей, который уходит своими корнями в брежневскую эпоху.

Не исключено, что *формалы* принадлежат к той категории людей, которые всю гамму своих мыслей и ощущений по поводу экономической стагнации и морального разложения, которыми был отмечен позднесоветский период, выражали в коротком изречении: «Виновата система». Похоже, именно эти слова — ключевые для понимания их мировосприятия. Сегодня же оно проявляется в том, что они острее, чем кто бы то ни было, реагируют на отсут-

ствие какой-либо системности вообще. Отсюда — повышенный спрос на порядок и законность, на юридические и нравственные ограничения свободы и повышенная чувствительность к неразвитости правосознания своих соотечественников. Но отсюда же и их неприятие лично-служебного стиля взаимоотношений. У нас нет оснований приписывать им нелюдимость, принципиально исключаящую приятельские или дружеские связи с сослуживцами. Скорее всего доминанта их настроений иная: в их глазах такие связи при дефиците системности этот дефицит только усугубляют.

Если наши предположения верны, то объяснимыми становятся и некоторые другие особенности *формалов*, которые, на первый взгляд, не очень совместимы с их мировосприятием. Мы имеем в виду их весьма благосклонное отношение к таким самобытным качествам россиян, как коллективизм и преданность государству, готовность подчинять его интересам интересы личные. По доле *коллективистов* в своем составе (59%) *формалы* несколько уступают только *уравнителям*, а по доле *государственников* (51%) делят первое-второе места со своими антиподами — *неформалами*.

Вполне возможно, что коллективизм и преданность государству как раз и символизируют в их глазах ту самую упорядоченную системность, отсутствие которой они так болезненно переживают. Но речь идет не о старой, а о принципиально новой системности, основанной на юридических и нравственных ограничениях произвола и беззакония; о системности, представления о которой не обременены, как у *неформалов*, ностальгическими воспоминаниями о системности советской. Речь идет о коллективизме и преданности государству, преодолевающих нынешнюю поляризацию и атомизацию общества, сплывающих его в его движении в западном направлении, а не возвращающихся к той самобытности, к тому коллективизму и тем взаимоотношениям между человеком и государством, которые имели место в давнем или недавнем прошлом.

К цифрам, иллюстрирующим эту особенность *неформалов*, можно добавить еще две: среди них самая большая (69% при 41% по населению в целом) доля людей, отрицательно оценивающих самобытную предрасположенность россиян во всем уповать на власть, а также тех, кто считает вредным для страны покорность россиян, их готовность мириться со всем, к чему власть принуждает (57% при 37% по населению в целом). И при всем том наши *формалы* в большинстве своем *коллективисты* и *государственники*!

Рассматриваемая группа тем-то и важна, что показывает как возможности наполнения почвеннической лексики принципиально новым смыслом (как в случае с духовностью, коллективизмом и

преданностью государству), так и слабую приспособляемость этой лексики для передачи нового смысла (как в случае с терпеливостью и особенно довольством малым). В свою очередь, это проливает дополнительный свет на природу обнаруженных нами общественных расколов — как «большого» (между *терпеливцами* и *нетерпеливцами*), так и «малого» (между *неформалами* и *формалами*) Мы имеем дело с расколами между людьми, способными использовать способы приспособления к социалистической реальности для приспособления к реальности, пришедшей ей на смену, и людьми, которые таких способностей в себе не обнаруживают и потому слова, которые эти способы символизируют, вызывают у них не положительную, а отрицательную реакцию.

Выше неоднократно говорилось о психологических истоках этих расколов, о том, что они очень слабо соотносятся с возрастными, образовательными и прочими характеристиками, включая уровень материальной обеспеченности. Случай с *неформалами* и *формалами* не опровергает почти ничего из того, что было на сей счет сказано. Но есть одно исключение, о котором мы уже упоминали, рассматривая мировосприятие *терпеливцев* и *нетерпеливцев*. Теперь у нас есть все основания вернуться к этому исключению, в том числе и потому, что оно еще более рельефно проявляется в различиях между *неформалами* и *формалами*, а также между *скромниками*, склонными высоко ценить самобытно-русское довольство малым, и *нескромниками*, склонными относиться к нему критически. Речь идет о том, что в составе почвеннических групп (*терпеливцы*, *неформалы* и *скромники*) наблюдается повышенная — и довольно неожиданная — концентрация жителей крупных промышленных и культурных центров и пониженная — жителей небольших городов. Что касается всех трех противостоящих им анитипиченнических групп, то тут все обстоит наоборот. Вот как выглядит это в цифрах.

Таблица 4. Зависимость оценки терпеливости, довольства малым и склонности переводить деловые отношения в личные от места жительства респондентов (данные в процентах от численности соответствующих групп).

	Большие города	Малые города	Село
Терпеливцы	43	34	23
Нетерпеливцы	38	40	22
Скромники	45	26	29
Нескромники	38	40	22
Неформалы	46	31	23
Формалы	38	47	15

Эти данные заслуживают внимания уже потому, что переворачивают некоторые устоявшиеся представления. Они достаточно красноречиво свидетельствуют о том, что именно в небольших городах и поселках, жителей которых принято считать более консервативными по сравнению с людьми, живущими в крупных промышленных и культурных центрах, происходит сегодня разрушение традиционно-самобытных психологических и социальных механизмов приспособления к реальности, между тем как в больших городах эти механизмы работают лучше и используются успешнее. В провинции быстрее иссякает потенциал терпеливости, размывается ценность традиционно-русской неприхотливости и утрачивают смысл лично-служебные связи с коллегами и начальством. Очевидно, что при провинциальной ограниченности контактов и возможностей их расширения, при крайне узкой сфере выбора места работы и источников дохода, при простаивающих предприятиях и невыплачиваемых зарплатах такие связи ничего не дают, а если дают, то монополизируются небольшим кругом лиц, в который большинству нет доступа. Не исключено, что мы сталкиваемся с совершенно новым явлением **провинциального одиночества**, усугубляемого еще и тем, что в малых городах, в отличие от больших, оно не может быть компенсировано солидарностью в акциях протеста.

Это явление заслуживает самого серьезного внимания хотя бы потому, что наиболее явно оно обнаруживает себя среди людей, ориентирующихся не на советское прошлое, а на западное настоящее, людей, много ждавших и ждущих от реформ, мечтающих о новой упорядоченности, а не о возвращении к старой. Если нынешнее невнимание властей к провинции не сменится озабоченностью ее судьбами, если их интерес будет ограничиваться исключительно большими городами, поставляющими им основную массу избирателей, то они потеряют эту часть провинции, которая пока относится к ним терпимо и не спешит переносить на них свое разочарование. В провинции есть люди, дорожащие свободой и надеющиеся, что она совместима с порядком не только в странах Запада, но и в России. Но эта надежда может иссякнуть — тем более, что сохраняется она прежде всего у тех, кто меньше всего склонен ценить в себе и других русское долготерпение и русскую неприязнательность.

Итак, выявленные нами общественные расколы имеют самое непосредственное отношение к месту жительства респондентов, причем, совсем не в том смысле, как это принято считать. Жители крупных центров легче приспособляются к новым реальностям не потому, что у них больше решимости в расставании с прошлым, а потому, что прошлое им больше, чем живущим в небольших го-

родах, помогает такое приспособление осуществлять. Отсюда, однако еще не следует, что именно по этой линии противоречия будут непременно и при любых обстоятельствах углубляться, а тем более — обретать политическую окраску. Так может быть, но до тех пор, пока нынешние расколы не стали конфликтами ценностей (а они таковыми еще не стали), этого можно избежать.

Мы видели, что разочарованные провинциальные западники, каковыми являются многие *нетерпеливцы* и *формалы*, не торопятся с переориентацией на коммунистическую оппозицию и какую-либо радикальную оппозицию вообще. Значит, что-то их удерживает и заставляет вести себя солидарно с их соотечественниками из больших городов. Значит, в массовом сознании существуют какие-то защитные механизмы, которые блокируют нынешние расколы, не дают им углубляться, сближая людей, принадлежащих к различным психологическим типам с неодинаковой приспособляемостью к происходящему в стране.

Какие же это механизмы?

Вопрекисты

У Георгия Гачева — одного из самых ярких и оригинальных представителей современной почвеннической мысли — есть интересное рассуждение, которое может помочь нам в поисках ответа на этот вопрос. В советской истории, как и в любой другой, — пишет он, — надо различать два периода. «Первый — период «бури и натиска», жестоко-кровавый (Ромул убивает Рема, белые вырезают индейцев в Америке, гильотина и Наполеон убивают миллионы французов... У нас — первые тридцать лет из семидесяти). Второй — уже не героический, но обывательский. В первый — власть напирает сверху, во второй — жизнь берет свое, низ расправляет силы, а соки в покое и тиши заструились вверх от земли, да и детки стали рождаться, Недаром тут уже природные названия периодов пошли: «оттепель», «застой» — в них Жизнь начинает брать свое над схемой того или иного СТРОЯ-структуры, перерождая их по себе. И коррупция механизма и сухого идеализма советской системы — это уже органическое изменение, превРАЩение, оживнение ее. Коррупция ведь — гниение, брожение, увлажнение... — все органика, не механика снова «переСТРОЙки»!..»

Это интересно уже потому, что здесь есть мужество последовательности, интеллектуальное бесстрашие в доведении мысли до неприятных, режущих слух выводов. Если органика — это в любом случае благо, а механика — зло, то органически прорастающая коррупция — благо тоже. Но еще интереснее (и для нас важнее всего)

то, что Гачев выступает не от имени советского коррумпированного чиновничества, а от имени советского народа, которого коррумпированное «ожизнивание» советской системы вполне устраивало по той простой причине, что это было и его собственное «ожизнивание».

«Я тридцать лет уже по полгода живу в деревне (да и сейчас в избе и на поле это пишу), — продолжает автор, — и наблюдаю, как мужички и бабы приспособили совхоз себе во благо: с фермы в свое хозяйство комбикорма приворовывают, тракторами огороды за бутылку обрабатывают, а начальство сквозь пальцы на это смотрит. И так уж экономика смешанного типа стала у нас выращиваться: частный интерес и активность развивались, но прислонясь к порядку целого, под его эгидой—охраной, то есть естественным путем, постепенно, как и в давно «рыночных» цивилизациях Европы. И надо было понять этот процесс «коррупции» — как положительный, переходный — и направлять, не ломая его слабые ростки... Но наши идеалисты — без слуха на Жизнь — снова завопили: Ускорение! Гласность! Правда! Перестройка!

Меньше всего мы хотели бы сейчас углубляться в детальную полемику с Гачевым и напоминать ему, скажем, о том, что произошло с советским продовольственным рынком именно тогда, когда страна ступила на «естественный путь» приворовывания комбикормов под понимающими и подмигивающими взглядами начальства. Нас интересует, пользуясь языком автора, сама органика его мысли, причем исключительно потому, что мы находим в ней приближение к ответу на занимающий нас вопрос о том, как и благодаря чему **нынешние** россияне, будучи идеалистами (подобно нашим «формалам») или разочаровавшимися в идеализме (подобно «нетерпеливцам»), не соблазняются призывами к очередной смене обывательского периода на героический. Вроде бы после опьяняющих воплей о гласности и перестройке должны были соблазниться. Но нет, удержались. И удерживаются до сих пор.

В наблюдениях и рассуждениях Гачева есть удивительное для мыслителя такого класса место. Рассказывая о том, как «мужички и бабы приспособили совхоз себе во благо», он забыл указать **время**, о котором повествует. Более того, он незаметно убирает границу между временем прошедшим и настоящим, так что непонятно становится, о чем идет речь: о том, что было? что есть сейчас? или о том и другом вместе?

Это — не случайная небрежность; одного указания на время было бы вполне достаточно, чтобы разрушились все построения автора. Потому что тогда пришлось бы сказать: сегодня, как и вчера, «мужички и бабы» имеют возможность вести «органическую жизнь», мало чем отличающуюся от прежней, — по крайней мере

по части приворовывания комбикормов. А это значит, что все происходившее в стране под лозунгами «гласности» и «правды» было не искусственным прерыванием обывательского периода, а его вполне органическим продолжением. Это значит, что мы пережили не героическую, а обывательскую революцию, принципиально отличающуюся от той, которую переживала та же Франция во времена «гильотины и Наполеона».

В том-то все и дело, что «естественный» путь давно «рыночных» цивилизаций Европы, равно как и нерыночного коммунистического СССР, — это как раз и был путь в обывательскую цивилизацию **через** героику. Между тем Россия к концу XX века прежние запасы героизма успела исчерпать, а новых не успела накопить. Поэтому-то, наверное, обнаруженные нами трещины общественных расколов не расширяются и не углубляются, поэтому переживаемый страной кризис ценностей не перерастает в их конфликт, поэтому люди, даже будучи недовольны властью, чаще голосуют все же за нее, чем за ее непримиримых критиков, опасаясь, что последние подведут черту под обывательским периодом и начнут новый героический виток.

Мы искренне благодарны Гачеву: без его провоцирующих размышлений сформулировать все это нам было бы гораздо труднее. Особенно же благодарны мы ему за ключевую для него мысль о «частном интересе и активности», которые развивались, «прислонясь к порядку целого, под его эгидой-охраной». С одной лишь оговоркой: он относит это исключительно к прошлому, а мы — и к настоящему тоже. Люди, без особых сожалений отказавшиеся от прежнего «целого», надеются приспособиться к новому, пусть даже и менее надежному, чем прежнее. Потому что противопоставить этому «целому» они могут или героический порыв разрушения, которого в себе не находят, или самодостаточный, не нуждающийся в том, чтобы к чему-то прислоняться, обывательский индивидуализм, которого не находят тоже. А это, в свою очередь, означает, что нынешнему взаимопопустительству «верхов» и «низов» у них нет никакой альтернативы. Они могут принимать его или отвергать, могут обнаруживать в нем преемственную связь с прошлым или разрыв с этим прошлым, могут критиковать его с либеральных или почвеннических позиций, но они не знают, как его безболезненно заменить чем-то другим (даже если им кажется, что знают, чем именно), а потому почитают за лучшее примиряться с ним.

Именно это, похоже, и сближает сегодня людей, находящихся по разные стороны от линии обнаруженных нами общественных расколов. И, что самое интересное, такое примиряющее сближение имеет свой аналог в примиряющем представлении о русской самобытности, которое блокирует, отодвигая на второй план, пред-

ставления разъединяющие. «Прислоняться к порядку целого» — это прислоняться к власти. «Развивать частные интересы и активность» — значит действовать в обход этого порядка; тут Гачев безусловно прав. Но — опять—таки с одной поправкой: такого рода практика не ушла вместе с прошлым, она вполне органически прорастает и в настоящем, в чем люди, как свидетельствуют о том наши данные, отдают себе ясный отчет. Более того — именно в этой практике обнаруживают они самую важную свою самобытную особенность, которую склонны ценить не меньше, чем цитированный нами автор.

Как уже отмечалось во введении, наиболее ценным качеством своих соотечественников опрошенные назвали жизнестойкость, расшифрованную нами как способность россиян вопреки притеснениям и запретам власти развивать свои таланты, стремиться к знаниям, творчеству и т. п. Напомним, что эту особенность положительно оценили 53% респондентов (условно мы назвали их *вопрекистами*), между тем как негативную оценку ей выставили всего 3% опрошенных.

Мы понимаем, что жизнестойкость многими может восприниматься как синоним терпеливости или готовности довольствоваться малым, что люди могли реагировать только на **это** слово, а не на его расшифровку, включающую ключевые для нас слова «вопреки власти». В пользу такого предположения говорит хотя бы то, что именно среди сторонников традиционно-самобытных способов приспособления к жизни, то есть терпеливости, довольства малым, склонности переводить деловые отношения в личные, обнаруживается самая большая доля *вопрекистов* (73-74%). Иными словами, подавляющее большинство *терпеливцев*, *скромников* и *неформалов* — это одновременно и *вопрекисты*!

И все же у нас нет достаточных оснований утверждать, что жизнестойкость воспринимается в отрыве от предложенной нами (отнюдь не бесспорной) расшифровки, то есть как синоним терпеливости, скромности потребностей или умения налаживать дружеские отношения с сослуживцами безотносительно к взаимоотношениям человека и власти. Во-первых, *скромники*, *неформалы* и даже *терпеливцы* намного уступают по своей численности *вопрекистам*. А во-вторых, все эти качества потому, похоже, и воспринимаются многими в едином пакете с жизнестойкостью, что они выглядят взаимодополняющими друг друга и только в совокупности раскрывающими смысл каждого из них. Скажем, терпеть неблагоприятные жизненные обстоятельства можно и беспрекословно, то есть по рецепту графа Уварова, подчиняясь власти, сливаясь с ней, а можно — противостоя ей, ища и находя возможности обхода ее предписаний, внешне соблюдая лояльность. И вот этот

второй способ сосуществования народа и власти и выглядит в глазах сегодняшних поколений россиян самой ценной особенностью народа. Это может нравиться или нет, но дело обстоит именно так.

Повышенная концентрация *вопрекистов* в некоторых почвеннических группах сама по себе ни о чем не говорит и ничего не опровергает хотя бы потому, что речь идет о группах, в которых почвенничество больше всего тяготеет к соединению с западничеством. Но дело даже не в этом. Дело в том, что *вопрекисты* составляют большинство во всех без исключения рассмотренных нами группах — и почвеннических, и антипочвеннических; нет ни одной, в которой их доля не превышала бы половину. Но это значит, что «вопреки власти» воспринимается сегодня безотносительно к тому, о какой конкретно власти идет речь, какого экономического и политического курса она придерживается. Вопреки **любой** власти — самодержавной, коммунистической, посткоммунистической, какой угодно! Такое вот представление о самобытности, объединяющие самые разные слои населения независимо от их отношения к другим самобытным особенностям России и ее народа, от их политических и идеологических предпочтений, — своего рода негативная консолидация.

Впрочем, только ли негативная? Ведь речь идет не о сопротивлении любой власти ради ее ниспровержения, а о жизнедеятельности и **саморазвитии** народа вопреки власти, какой бы та ни была. Речь идет не о борьбе с властью, а как бы о параллельном рядом с ней существовании, когда ее предписания и декларируемые ею принципы не принимаются в расчет в том числе и потому, что ее представители сами им не очень-то охотно следуют, а часто не следуют вообще. Можно сказать, что народ выступает по отношению к власти одновременно и как конформист, и как диссидент. То, что раньше составляло особенность подцензурного проживания русских мыслителей, писателей и поэтов, сегодня воспринимается как главная особенность повседневного существования рядового человека, более того — как самое ценное проявление самобытности всего народа, причем не только ныне живущих его поколений!

Можно называть такую практику взаимопопустительством «верхов» и низов». Можно — тоталитарно-анархической гибридностью. А можно и практикой обывательского периода, пришедшего на смену героическому, однако, в этом случае между послесталинским СССР и той же посленаполеоновской Францией какую-либо разницу и в самом деле уловить будет непросто. Но нас все же интересуют сейчас не столько термины, о которых, как говорится, можно спорить, а сам этот новый стиль повседневного поведения в неправовом идеологизированном обществе, ко-

торый начал утверждаться с середины 50-х годов и который представлял собой оригинально-самобытное сочетание конформизма и диссидентства .

Он возник не потому, что «низ расправил силы», как пишет Гачев, а потому, что сама власть (то есть «верх») перестали находить в себе достаточно сил для всепроникающего контроля за гражданами. К тому же она на собственном опыте успела понять: тотальный диктат над народом невозможен без еще более жесткого диктата над представителями самой власти со стороны диктатора и преданных ему полицейских органов, олицетворяемых фигурами типа Ежова или Берию. Власть захотела быть снисходительной прежде всего к собственным слабостям; поэтому ей пришлось примириться и со слабостями народа. Последний же зафиксировал эти новые отношения в виде афоризма: «Они (начальство) делают вид, что нам платят, а мы (то есть народ) делаем вид, что работаем».

Мы не рискнули бы назвать это (даже с добавлением воспетой Гачевым народной коррупции) «ожизнением» советской системы; тут, как нам представляется, уместнее слово «омертвление». В том-то все и дело, что сам «порядок целого» начинал в те годы утрачивать почву под ногами и переставал быть порядком; прежние опоры он утрачивал, а новые были противопоказаны самой его природе. Если при Сталине в послевоенные годы за украденный с колхозного поля колосок давали десять лет тюрьмы, то в этом была своя системная логика: чистота идеологического принципа (неприкосновенность социалистической собственности) поддерживалась страхом перед репрессиями. Но если люди могут безнаказанно приворовывать с совхозной фермы, то это не органическое «ожизнение» системы, а начало ее конца. Потому что она оказывается бессильной перед простым вопросом о **мере** допустимого воровства.

«Порядок целого», отказывающийся от своих основополагающих принципов и превращающий во всеобщую норму нарушение собственных официальных норм, делает тем самым заявку на замену себя другим. Ну, а смена «порядка целого», нравится это кому-то или нет, никогда и нигде не обходилась еще без идеализма и идеалистов или, пользуясь лексикой Гачева, без воплей о «гласности», «правде» и тому подобных возвышенных материях.

Советская система не могла обеспечить естественную эволюцию от героического периода к обывательскому по той простой причине, что сам самобытный *вопрекизм*, на который власти стали закрывать глаза в послесталинскую эпоху, никакого нового принципа в себе не заключал; он был всего лишь старческим продолжением и вырождением того *вопрекизма*, на котором эта система

держалась всегда, в том числе и в пору своей молодости. Ведь это не кто-нибудь, а сама власть на протяжении всех советских десятилетий приучала людей к тому, что только вопреки сопротивлению ее «отдельных представителей» можно чего-то достигнуть! Она не уставала призывать советского человека **преодолевать бюрократизм**, который находила в себе самой, не уставала противопоставлять новое — старому, новаторство — консерватизму, имея в виду инертность прежде всего в своих собственных руководящих рядах. Фильмы и газетные статьи сталинского периода рисовали фигуры передовиков, которым ставит палки в колеса нерадивое и несознательное начальство и которые вынуждены искать защиту от его несознательности в сознательном ЦК. Это был уникальный в своем роде механизм: власть признавала, что только в борьбе с ней, с властью, можно добиться чего-то стоящего, то есть добиться того, к чему она же и призывает!

Другое дело, что со временем люди стали понимать: ни ЦК, ни Политбюро им тоже ничем помочь не могут, а могут лишь пересылать их жалобы на местное руководство — с предложением «разобраться» — все тому же местному руководству. А поняв это, они стали распространять свое «вопреки» на всю власть — не только местную, но и центральную. Или, говоря иначе, на «всю систему». Понятно, что само слово «борьба» не могло не утратить при этом свой исходный смысл; на борьбу с системой могли решиться лишь те немногие, которые стали называть себя диссидентами. Успехи же во внутрисистемной борьбе, которых с помощью центральной прессы удалось добиться таким людям, как хирург Илизаров, офтальмолог Федоров, педагоги Сухомлинский и Шаталов, были теми исключениями, которые подтверждают правило. Подавляющему же большинству людей оставалось лишь одно: заключать негласные взаимовыгодные договоренности с подобранным начальством на счет свободной кражи комбикормов, то есть сочетать свое диссидентство с конформизмом.

Этот позднесоветский *вопрекизм*, разрушивший, в конце концов, прежний «порядок целого», продолжает свою жизнь и в нынешней постсоветской системе, не сумевшей пока противопоставить ему «порядок целого», основанный на соблюдении юридического кодекса. Поэтому люди и сегодня продолжают считать принцип «вопреки власти» своим самобытным достоянием, вполне соответствующим их повседневному проживанию.

Интересная деталь: в составе *вопрекистов* перед первым туром президентских выборов ельцинцев было больше, чем зюгановцев (соответственно 29 и 22%). Как это понимать? Казалось бы, если люди голосуют за представителя нынешней власти, то они вроде бы должны руководствоваться тем, что она отменила запреты и

предписания своей предшественницы и предоставила новые возможности для самоутверждения. Что же значит тогда «вопреки власти»? Не исключено, что в своем нынешнем историческом воплощении она потому и ценится, что появилось больше возможностей действовать в обход нее (скажем, скрывать свои доходы от налоговых служб). Иными словами, властям прощается то, что они освободили себя от собственных предписаний и принципов больше, чем общество, а прощается потому, что они готовы закрывать глаза на то, как общество пользуется свободой.

Да, нынешние возможности многим людям могут казаться не столь значительными, как в позднесоветские времена. Поэтому, придя на избирательные участки, они отдают предпочтение политикам, которые те времена в их глазах олицетворяют. Но уже одно то, что выбирать они предпочитают, как правило, между персональными символами прошлой и нынешней **власти**, других политиков в расчет не принимая, свидетельствует о том, что ясной и реальной альтернативы *вопрекизму* они пока не видят. Они выбирают не между взаимопопустительством и чем-то противоположным ему; они выбирают между двумя знакомыми им вариантами взаимопопустительства.

В постсоветском *вопрекизме* при всем желании трудно уловить что-то почвенническое, будь-то в славянофильской, уваровской или коммунистической версии. Но и либерализма здесь, строго говоря, не очень много, хотя и больше, чем почвенничества, и больше, чем было его в *вопрекизме* брежневской эпохи: тогда этот *вопрекизм* был способом приспособления к нелиберальной общественной системе, а теперь в нем обнаруживаются исторические муки становления системы либеральной. Поэтому, строго говоря, только после распада прежнего «порядка целого» самобытно-российский «вопрекизм» стал обретать историческую перспективу, только после этого открылись возможности его естественного самопреодоления и его легализации в институтах гражданского общества. При отсутствии юридически закрепленных прав и свобод и их законодательного ограничения органическое перерастание старого порядка в новый было немислимо в принципе, а легализации этих прав и свобод советский порядок не выдержал и выдержать не мог.

Разумеется, нынешнее взаимопопустительство «верхов» и «низов» в свободе само по себе ничуть не лучше прежнего взаимопопустительства в несвободе. Такая самобытность, в конечном счете, тоже ведет в никуда. Поэтому считать постсоветский *вопрекизм* естественным и органичным столь же нелепо, как и *вопрекизм* позднесоветского образца. Его надо просто признать как факт, свидетельствующий о том, сколь нелегко дается России расставание

с прошлым. Поэтому слово «правда» и сегодня мы не стали бы объявлять устаревшим. Хотя бы потому, что без него нам непросто будет избавиться от идеологизации и мифологизации российской самобытности: о ней тоже следует сказать всю правду. Правда же заключается в том, что в массовом сознании самая привлекательная самобытная особенность ассоциируется с тем, что по цивилизованным меркам привлекательным назвать трудно; она ассоциируется с ненормальными, неупорядоченными взаимоотношениями народа и власти.

История знает только два выхода из подобных положений: или столь знакомое и привычное нам по прошлому опыту возвышение власти над народом и всеми элитными группами, то есть приобретение ею полицейско-диктаторской окраски, или упорядочивание жизни на путях демократии и права. Возможно ли оно сегодня? Достижимо ли? И соотносится ли оно с нынешними представлениями россиян о самобытно-ценном?

Как ни странно, вполне соотносится. Ведь «вопреки власти» в условиях политической свободы может быть и способом коррекции деятельности власти посредством политического давления на нее снизу в том случае, если она сама или сращенные с ней элитные группы не готовы к **правовому самоограничению** в свободе, воспринимая последнюю как свободу юридического беспредела. Дефицит законности, ее неукорененность в обществе всегда преодолеваются или компенсируются политическими средствами — демократическими или диктаторскими. Войдя в историческое пространство свободы, Россия может удержаться в нем и продвигаться к его юридическому упорядочиванию, сохраняя за «низами» возможность влиять на власть и ее состав с помощью избирательного бюллетеня или в ходе акций протеста против ущемления или недостаточности их законных прав.

Дорога к правовому государству пролегает сегодня в России через политику. Весь вопрос в том, какой эта политика будет. Демократическая политика в подобных условиях предполагает, что власть начинает правовое упорядочивание не с «низов», вытравливая их самобытный пассивный *вопрекизм*, а с «верхов», то есть с самой себя и других элитных групп, пытающихся монопольно владеть пространством свободы, приватизируя государство. Начинать с «низов» в обществе со слабыми правовыми традициями — значит провоцировать превращение пассивного *вопрекизма* в активный, что будет означать завершение обывательского периода и очередное вползание в период героический со всеми присущими ему проявлениями (хаосом и диктатурой), столь хорошо известными по опыту XX столетия.

Конечно, переход от режима взаимопопустительства к режиму

юридически–правовому предполагает готовность граждан подчиняться единым для всех законам. Причем, декларирование такой готовности само по себе еще мало о чем говорит, так как россияне, долгие десятилетия имевшие дело лишь с социалистической законностью, регулировавшей отношения несвободных людей, могут просто не представлять себе, о чем идет речь. Ибо законность в условиях экономических и политических свобод — это нечто совсем иное. Готовность к ней означает, помимо прочего, уверенность человека в своей конкурентоспособности на свободном рынке труда. Если такой уверенности нет, то система взаимопустительства для него гораздо удобнее, чем юридически–правовая, ибо это и есть система, максимально приспособленная к психологии конкурирующих друг с другом потребителей, а не конкурентоспособных производителей. Поэтому так важно знать, как сегодняшние россияне, успевшие, как мы видели, в массе своей переориентироваться с самобытно–российских на западные жизненные стандарты, воспринимают возможности отечественного рядового труженика и его особенности по сравнению с западным.

Российский и западный работник

Советская власть пыталась создать свою, отличную от западной, систему побуждений к труду. Она стремилась идеологически возвысить его, привить отношение к нему, как к исполнению воинского долга, как к «делу чести, доблести и геройства», то есть сделать трудовую мораль одной из главных составляющих оборонного сознания или, что точнее, сформировать трудовую мораль **на основе** оборонного сознания. И эта система мотивации с присущим ей культом «общего дела», идеологически принижая любые соображения, связанные с личной выгодой и частным интересом, имеет самое непосредственное отношение к интересующей нас теме российской самобытности.

С одной стороны, коммунистический режим разрушил традиционный жизненный уклад ради формирования «нового человека», приспособленного к советской модели индустриальной цивилизации. В этом отношении он порывал с почвенническими представлениями о русской самобытности, накрепко привязанными к России сельской, крестьянской и не выходящими за ее исторические горизонты. С другой стороны, советская власть, внедряя в массовое сознание созданную ею систему мотивации труда, опиралась на почвеннические ценности коллективизма, духовности (преобразованной в коммунистическую идейность и социалистическую сознательность), уравнительной справедливости, терпения, «простоты жизненных потребностей». Все это противопоставлялось как западному индивидуализму и эгоизму, так и их проявлениям на советской почве в виде «вещизма», «рвачества» или «погони за длинным рублем». Но если сегодня даже в почвеннических группах мы наблюдаем симпатии к западному образу жизни, то тем более важно понять, как эти симпатии сочетаются с оценками российского и западного работников, с представлениями об особенностях их трудовой мотивации.

Важно понять и другое: как эти оценки и представления связаны с выявленным нами несовпадением в сознании образов желаемого и осуществимого, с тем разрывом между «хочу» и «могу», который во многом и стимулирует благосклонное отношение к почвеннической версии самобытности России. Можно ли, скажем, утверждать, что постсоветские *коллективисты, уравниатели* или *авторитаристы* чаще других склонны оглядываться назад и предаваться светлым воспоминаниям о советской повседневности имен-

но потому, что они проявляют повышенное недоверие к возможностям русского работника? В свою очередь, если для таких утверждений мы не обнаружим достаточных оснований, то что же означает тогда несовпадение между «хочу» и «могу» и каким смыслом наполняется тогда «не могу»?

Выяснить все это нам помогут ответы на вопросы анкеты, касающиеся, с одной стороны, качеств российского и западного работников, с другой — их трудовой мотивации.

Качества работников

Данные, которые станут предметом нашего анализа, выглядят следующим образом (в таблицу сведены ответы на два вопроса, один из которых касался качеств российского работника, а другой — западного).

*Таблица 5. Представления россиян о положительных и отрицательных качествах российского и западного работников (данные в % от общей численности опрошенных)**

Качества работника	Российский работник	Западный работник
Трудолюбив	50	70
Ленив	25	3
Заинтересован в конечном результате своего труда	47	66
Безразличен к конечному результату своего труда	36	10
Работает на совесть	43	73
Недобросовестен	33	2
Аккуратен, старателен в исполнении полученного дела	39	78
Неисполнителен, небрежен	38	1
Дисциплинирован	34	78
Недисциплинирован	42	1
Инициативен	22	46
Выполняет только ту работу, которую ему поручают	61	26

Сноска ()* Чтобы не перегружать таблицу, мы не приводим информацию о затруднившихся ответить. Заинтересованный читатель может легко подсчитать их процент по каждой из предло-

женных пар ответов. Скажем, если 50% считают российского работника трудолюбивым, а 25% — ленивым, то оставшиеся 25% затруднились ответить, трудолюбив он или ленив.

Первое, что обращает на себя внимание: чрезвычайно высокая оценка россиянами западного работника и гораздо более скромная — работника отечественного. Многие склонны даже наделять первого достоинствами (например, инициативностью), которые имеют отношение не столько к представителям массовых профессий на Западе, сколько к тому образу труженика, который внедрялся в сознание при советской власти, культивировавшей не исполнительность, а трудовое новаторство, не устававшей призывать к перевыполнению норм выработки, рационализаторству и изобретательству и поддерживать бесчисленные почины «снизу», которые предварительно разрабатывались и согласовывались в соответствующих инстанциях. Но это все же детали. Главное заключается в том, что у россиян сложилось устойчивое представление о Западе: там не только лучше живут, но и лучше работают, и именно потому, что лучше работают, лучше и живут.

Интересно, что представление это не зависит (или зависит очень мало) от степени информированности о западной действительности. Только 10% опрошенных считают, что они достаточно хорошо осведомлены о жизни в западных странах, между тем как 38% респондентов ответили, что они имеют о ней лишь «некоторое представление», а 46% признали недостаточность своих знаний об этой жизни. Не будем углубляться в вопрос о том, как и благодаря чему сложился в сознании россиян образ западного человека, обеспечивающего высокий уровень своего благосостояния собственным напряженным трудом. Но то, что он сложился, — это факт, как факт и то, что российский труженик оценивается нашими соотечественниками намного скромнее.

Нельзя сказать, что результаты народной экспертизы выглядят в этом отношении удручающими: из таблицы видно, что наши респонденты чаще склонны все же наделять российского работника положительными качествами, чем отрицательными. Исключений всего два: они касаются инициативности и дисциплинированности. Однако и в других случаях доля положительных оценок все же не превышает половины, а доля отрицательных не опускается ниже трети (за исключением трудолюбия). Между тем в представлениях о западном работнике россияне близки к согласию, в глазах подавляющего большинства из них он выглядит образцовым.

Как же все-таки совмещается желание наших сограждан видеть Россию страной,двигающейся по проложенным Западом историческим маршрутам (а этого, напомним, хотят почти три четверти

опрошенных), с ясным представлением многих из них о том, что России не достает такой «мелочи», как западный работник? В сравнении с ним труженик отечественный выглядит достаточно самобытно, но самобытность эта такова, что не может добавить народу уверенности в своих силах, а может порождать лишь неуверенность в осуществимости его желаний. Несколько забегаая вперед, можем сказать: экспертиза, осуществленная самим народом, наглядно показывает, что ориентации на западные стандарты жизни сочетаются в его сознании с такими представлениями о трудовых качествах россиян, которые во многом совпадают с почвеннической версией российской самобытности. Однако в них трудно обнаружить почвенническое довольство этой самобытностью и убежденность в ее самодостаточности.

Среди особенностей русского работника наши респонденты чаще всего называют трудолюбие (его отметил каждый второй) и реже всего — лень (каждый четвертый). Вместе с тем гораздо меньше людей считают его дисциплинированным. Это качество находят в нем 34% опрошенных (ниже оценивается только инициативность), а 42% полагают, что дисциплина ему не свойственна. Очень выразительные данные! Они показывают, что трудолюбие и трудовая дисциплина — это в глазах многих вещи разные, друг с другом никак не связанные. По крайней мере, в том случае, когда речь идет о **российском** работнике: он может выглядеть одновременно и любящим свою работу (как и труд вообще), и отлынивающим от нее, позволяющим себе различные послабления, будь-то опоздания или прогулы, выпивки или длительные перекуры.

Эта недисциплинированность русского народа отечественными мыслителями отмечается издавна, и многие из них видели в ней проявление лени, то есть отсутствия трудолюбия. Иначе представляли себе дело идеологи почвенничества. Они ставили русское **трудолюбие выше** экономически навязанной, принудительной дисциплины западного образца, так как находили и ценили в первом особое эмоциональное отношение не столько к результату, сколько к самому **процессу** труда. В таком отношении как раз и усматривалась самобытная особенность россиян, выгодно отличающая их от западных людей с их рациональным проживанием жизни без ее эмоционального переживания.

Сегодняшняя народная экспертиза, повторим, отчасти подтверждает подобные представления. Но — подчеркнем — лишь отчасти. Трудолюбие чаще других качеств русского работника называется нашими респондентами в числе его положительных особенностей. Но, во-первых, называется оно не всеми и даже не большинством опрошенных. Во-вторых, у нас нет никаких основа-

ний утверждать, что трудолюбие считается сегодня чем-то более высоким, чем дисциплина, и способным компенсировать ее отсутствие. Наконец, в-третьих, ничего самобытного в этом качестве россияне, судя по всему, не видят; ведь западного человека они намного чаще, чем русского, называют не только дисциплинированным, но и трудолюбивым!

Таким образом, в сознании значительной части народа действительно сохраняется образ отечественного работника, вполне соответствующий почвеннической версии российской самобытности. Однако образ этот лишен полноты и самодостаточности, цельности и непротиворечивости, лишен той идеальности и возвышенности, которые и делали его столь привлекательными в глазах идеологов нашего почвенничества.

Трудолюбие русского человека — не выдумка славянофилов и их последователей, обвинить его в лености действительно несправедливо. Но это трудолюбие уходит своими корнями в специфические особенности натурального и мелкотоварного крестьянского хозяйства и может быть ослаблено и даже утрачено в хозяйстве индустриальном. В условиях, когда жизнь человека непосредственно зависит от выращенного им урожая (а это было так даже при крепостном праве), когда цели его труда и средства их достижения воспроизводятся, не меняясь, из года в год и из поколения в поколение, когда они воспринимаются как **свои собственные** цели и средства, неизбежно возникает то эмоциональное слияние с процессом труда, которое исчерпывающе передается словом «трудолюбие» и не нуждается в слове «дисциплина» — последнее не несет в себе в данном случае никакого дополнительного смысла.

Тут есть эффект добровольности и свободного распоряжения своим временем даже тогда, когда оно поджигает, есть возможность по собственному усмотрению чередовать работу с отдыхом, что и позволяет воспринимать труд не как обременительное, а как приятное и даже беззаботное дело. Именно об этом писал когда-то в «Анне Карениной» такой почвенник, как Лев Толстой, видя в этом естественный для русского мужика «порядок вещей», от которого тот не может и не хочет отказываться ради западной рациональности и эффективности.

У сегодняшних последователей Толстого, ссылающихся на его наблюдения и повторяющих его доводы, есть достаточно оснований думать так, как они думают. Хотя бы потому, что русское трудолюбие никуда не исчезло, и вовсе не случайно нынешняя народная экспертиза фиксирует это качество чаще, чем какое-либо другое. Причем сохранилось оно не только в народной памяти, но и в жизненной практике. Оно наглядно проявлялось при советской

власти в так называемом личном подсобном хозяйстве колхозников, оно проявляется и сейчас — не только среди сельских жителей, но и среди горожан, старательно и любовно застраивающих и возделывающих свои дачные участки.

Однако и до 1917 года, и после него оно обнаруживало себя прежде всего в непосредственной работе **на себя**: на помещика, капиталиста или на коммунистическое государство люди, как правило, работали хуже; любовь к труду их покидала, и вместо нее им приходилось навязывать «внешнюю» дисциплину. Особенно заметно это сказывалось на промышленных предприятиях, где результаты труда прямого отношения к жизни не имеют, а его цели задаются не работником, а начальством; к тому же цели эти постоянно меняются. Учитывая, что процесс труда в индустриальном производстве остается монотонным и однообразным, эмоциональное слияние с ним оказывается затруднительным, он уже сам по себе воспринимается как нечто чуждое и навязанное. Поэтому тут уже на трудолюбие уповать не приходится, тут ставка может быть только на дисциплину, на брак с трудом по расчету, где любовь желательна, но не обязательна; ставка на рациональность, а не на чувство.

Запад решил эту проблему, поставив заработок, а тем самым и благополучие работника в зависимость от его усердия и квалификации. В России до октябрьской революции это сделать в силу разных причин не удалось. Советская власть взялась решать ее вполне самобытно: она попыталась приспособить психологию патриархального крестьянина, ведущего натуральное хозяйство, к индустриальному производству, попыталась, говоря иначе, превратить трудолюбие в дисциплину, придав последней особое эмоционально-идеологическое звучание, наделив ее обаянием добротности и сознательности. Суть замысла предельно ясно выражена у Ленина: на место старой дисциплины (рабской, крепостнической, капиталистической), основанной на эксплуатации, на физическом или экономическом принуждении, мы поставим дисциплину новую, в основе которой — ощущение работы на **свое государство** («рабочих и крестьян»), причем не ради чужих, а ради собственных (социализм и коммунизм) целей. Написано это было в брошюре о коммунистических субботниках, которые и рассматривались как практическое подтверждение жизненности замысла.

Однако жизненность его оказалась иллюзией; к добровольному, свободному и сознательному труду приходилось принуждать и экономически («кто не работает, тот не ест»), и страхом перед «своим государством», которое за несознательность и недостаток энтузиазма, призванного символизировать и трудолюбие, и новую

дисциплину, награждало тюрьмой или пулей. И все же советская власть не справилась с поставленной исторической задачей; более того, на ней она, в конечном счете, и сломалась. Не помогли ни репрессии, ни вызывавшийся ими страх. Не помогли ордена, звания и доски почета — эти уникально-самобытные способы награждения личной славой при государственной монополии на признание или имитацию индивидуальных профессиональных заслуг. Не помогли социалистическое соревнование и движение за коммунистический труд, борьба с тунеядством и попытки сочетать моральные стимулы с материальными.

Коммунистический эксперимент показал и доказал, что такие задачи в принципе неразрешимы, если государство боится сделать людей экономически от себя независимыми и пытается привязать их к себе, используя монопольное право на предоставление им работы и средств существования. Тем более, что доходы приходится искусственно выравнивать — опять же ради того, чтобы исключить появление экономически независимых граждан.

Подводя итог завершившегося исторического эксперимента, можно сказать, что единственно действенным способом стимулирования труда при советской власти была его милитаризация и героизация, возведение его в ранг выполнения воинского долга, что стало возможным благодаря имитации внешней угрозы и превращения страны в «осажденную крепость». Этим в значительной степени объясняются достижения коммунистического режима в некоторых отраслях, прежде всего в тех, которые прямо или опосредованно работали на укрепление военно-промышленного комплекса. Однако и в данном случае нельзя забывать: ВПК, будучи одной из главных опор государства, обладал от него и определенной **экономической независимостью**, ибо мог претендовать на получение в свое распоряжение львиной доли ресурсов страны, которые обеспечивали особое положение не только его руководителям, но в какой-то степени и рядовым работникам.

Нельзя забывать и о том, что размывание оборонного сознания, начавшееся после войны, постепенно приводило к ослаблению дисциплины даже в армии, не говоря уже о промышленных предприятиях, в том числе и оборонного комплекса. И когда сегодня наши сограждане отдают предпочтение западному работнику перед российским (особенно по части инициативности и дисциплины), то в этом надо видеть не только самокритику народа, но и критику советской экономической системы, оказавшейся неспособной предложить человеку столь же эффективную и долговременную, как на Западе, трудовую мотивацию.

В относительно низкой оценке российского работника при одновременной ориентации на западные стандарты потребления мож-

но, конечно, усмотреть неуверенность в том, что такие стандарты достижимы и в России, а значит и предрасположенность народа к очередному поиску очередного «особого пути». Но можно усмотреть в этом и иное: трезвый реализм, отсутствие национального сомнения и чванства, отказ от мессианского желания учить других и открытость к тому, чтобы учиться самим. В пользу такого предположения свидетельствуют, в частности, приведенные выше данные о том, какими видятся нашим согражданам предпосылки выхода из нынешнего кризиса. Напомним некоторые ответы, оказавшиеся в числе самых популярных: россияне должны попытаться доказать себе и миру, что они могут не только хорошо воевать, но и хорошо работать; они должны понять, что величие нации определяется не силой оружия и величиной территории, а прежде всего благосостоянием граждан; должны научиться жить и работать в условиях частной собственности и рыночной экономики.

И еще один довод, свидетельствующий об оправданности нашего предположения. Если бы скромные оценки российского работника означали неуверенность в возможностях народа и склонность к поискам незападного исторического маршрута в организации хозяйства и стимулирования труда, то самые низкие оценки должны были бы иметь место в группах, отличающихся повышенной восприимчивостью к почвенническим ценностям. Но мы не только не находим ничего подобного, но обнаруживаем нечто противоположное!

Именно в почвеннических группах процент положительных оценок русского работника самый высокий, а в антипочвеннических — самый низкий. Чтобы не утомлять читателя цифрами, ограничимся информацией о *коллективистах* и *антиколлективистах*. Так, среди первых считают российского работника трудолюбивым 53%, а среди вторых — 40%. Аналогичная картина наблюдается в оценках дисциплинированности (35 и 26%), умения трудиться на совесть (49 и 36%) и других качеств. Конечно, и в почвеннических группах, как видно на примере *коллективистов*, достоинства отечественного работника оцениваются достаточно скромно. Но нам сейчас важна сама тенденция, фиксируемая в приведенных цифрах. В чем же ее суть?

На наш взгляд, представители антипочвеннических групп более критично относятся к народу по той же самой причине, по какой они выше, чем представители групп почвеннических, оценивают постсоветскую повседневность по сравнению с советской. В их глазах она воплощает столь желанное для них движение по западному маршруту, они чувствуют себя не наблюдателями, а участниками этого движения, имеющими в нем свой личный интерес и чувствующими себя способными реализовать в нем свои

индивидуальные возможности. При этом они как бы отделяют себя от большинства населения, которое приспособиться к переменам не может, самовозвышают себя над ним, объясняя свою «избранность» его недостатками («совковостью»), в том числе и как работников. Народ не может трудиться, как трудятся люди на Западе, а мы можем — вот в чем, скорее всего, суть позиции нынешних отечественных антипочвенников.

Иное дело — представители почвеннических групп. Им труднее приспособиться к происходящему в стране, они чувствуют себя ущемленными, а ущемленные обычно проявляют повышенную склонность апеллировать к интересам и бедам народа, выступать от его имени и отождествлять себя с ним. Естественно, что и образ самого народного большинства в их сознании выглядит более привлекательным, чем в сознании тех, кто ощущает свое превосходство над этим большинством.

Да, наши почвенники тоже оценивают российского работника достаточно сдержанно, но все же заметно выше, чем антипочвенники. К тому же, как можно предположить, сами симпатии к почвенническим ценностям связаны с верой в то, что недостатки отечественного труженика могут быть компенсированы его **положительными** самобытными особенностями. Но если так, то в нынешних своих трудностях почвенники должны обвинять (и обвиняют!) прежде всего не его, а власть, которая с этими самобытными достоинствами не считается, и те неблагоприятные обстоятельства, в которые он сегодня поставлен, точнее — то неравенство условий для самореализации, по сравнению с чем даже советские условия кажутся более благоприятными.

Вместе с тем мы уже говорили о том, что эта ностальгия по советской повседневности, столь заметная в почвеннических группах, даже в них уживается с более чем сдержанным отношением к советской экономической и политической системе, к перспективам возврата к социалистическому строю. Но что же тогда подразумевается под существовавшими при советской власти возможностями самореализации? Включают ли они в себя использовавшиеся коммунистическим режимом способы организации и стимулирования труда или эти способы воспринимаются как неотъемлемые черты самого режима, реанимации не подлежащие?

Ответить на эти и другие вопросы нам помогут данные о восприятии россиянами различных побуждений к труду и о восприимчивости к ним российского и западного работников.

Побуждения к труду

Эти данные кажутся нам важными хотя бы потому, что именно в особенностях трудовой мотивации русского человека (а не в его качествах как работника) усматривают чаще всего его самобытность, выгодно отличающую его от западных людей, составляющую его преимущество перед ними. Никому, даже идеологам российского почвенничества, не приходило и не приходит в голову искать такое преимущество в той же дисциплинированности. Но отнюдь не только эти идеологи обнаруживают в русском работнике принципиально отличающие его от работника западного идеальные, ничем внешним не опосредованные (деньги, престиж, карьера) побуждения к труду.

Одни говорят: для русского человека важна не работа, а ее высший смысл, ставя на этом точку или многоточие. Другие расшифровывают этот смысл как служение «общему делу» или «великой цели». Третьи добавляют: не только «общее дело», но и личное творчество; монотонная исполнительность россиянам претит. И еще много чего говорят. Например, о том, что труд в России — это всегда и непременно общение, предполагающее тесные, душевные, семейные отношения между сослуживцами; в противном случае работа людям не в радость, а в тягость.

Нельзя сказать, что все это — сплошная идеализация и ничего больше. Тут есть и реализм, внимание и бережное отношение к народному опыту. Даже самые убежденные антипочвенники и антикоммунисты не могут, скажем, не считаться с достижениями страны в советский период (в той же военной промышленности или космонавтике), как не могут приписывать их исключительно принуждению со стороны властей и внушаемому ими страху. И понятно почему: ведь это было бы равносильно такому принижению заслуг народа и такому возвеличиванию заслуг коммунистического государства, каких не позволяло себе даже оно само.

Но раз так, то отсюда неизбежно следует, что советская система стимулирования труда с ее апелляциями к «общему делу», «творчеству на каждом рабочем месте» и товарищеским, взаимозаинтересованным отношениям в каждой «трудовой семье» (то есть в каждом трудовом коллективе) была не беспочвенным идеологическим сотрясанием воздуха, а чем-то таким, что находило отклик у рядовых и нерядовых тружеников. И нам, как и во всех предыдущих случаях, остается лишь выяснить, насколько эти и некоторые другие представления о побуждениях к труду соответствуют сегодняшним представлениям народа о самом себе, и насколько он эти побуждения считает самобытными, то есть свойственными только ему и отличающими его от народов западных стран.

Вот данные, которые мы получили.

*Таблица 6. Представления россиян о трудовой мотивации и некоторых психологических особенностях российского и западного работников (данные в % от общей численности опрошенных)**

Трудовая мотивация и некоторые другие психологические особенности работника	Российский работник	Западный работник
Работает прежде всего ради денег	67	71
Работает из интереса к самой работе	21	11
Проявляет свои лучшие трудовые качества в критических обстоятельствах	63	14
Лучше проявляет свои качества в обычных обстоятельствах	23	54
Дружеские отношения в трудовом коллективе важнее самой работы	60	8
На работе важнее всего дело	24	69
Ему важно, чтобы его работа служила общему делу	45	12
Для него главное в работе - личный интерес	39	66
Лучше проявляет себя в творческой работе	44	51
Лучше всего приспособлен к рутинной работе	36	18
Хорошо работает лишь пока он беден	31	10
Работает тем лучше и упорнее, чем выше его достаток	46	64

Сноска (*) Как и в предыдущей таблице, данные о затруднившихся ответить по каждой паре альтернативных вариантов ответов не приводятся.

Конечно, образ народа и образ самого себя в сознании человека могут не совпадать и очень часто не совпадают. Но если даже, говоря о народе, он не имеет в виду себя лично, он кое-что говорит и о себе, а именно — о тех обстоятельствах, с которыми ему приходится считаться и к которым он в той или иной мере должен приспособливаться независимо от того, как он к ним относится. И если две трети (даже чуть больше) наших респондентов считают: в России люди работают, прежде всего, ради денег, не видя в данном отношении особых отличий между русским работником и западным, то это значит, что русское «то, во имя чего» выглядит в их глазах не более возвышенно, чем западное. «Мы» и «они», по мнению большинства опрошенных, трудятся ради одного и того же, но «они» делают это лучше, проявляя больше дисциплинированности, старательности и т. п. (смотри предыдущий параграф).

Эти данные сами по себе ничего не говорят о том, как оценивается «работа ради денег», какие чувства она вызывает. Они лишь

фиксируют факт: россияне, как правило, считают, что в России, как и на Западе, людьми движет интерес не столько к работе, сколько к заработку. И — тем самым — ставят под сомнение надежды нынешних идеологов российского почвенничества на то, что в русском работнике есть сегодня нечто такое, что позволит ему быстрее, чем западному, преодолеть мещанский горизонт «экономического человека», его приземленность и бездуховность и стать человеком «постэкономическим».

Интересно, что даже те, кто придает большое значение самобытной российской духовности (понимаемой как «преобладание духовных ценностей над материальными»), в данном отношении из общей массы населения почти не выделяются. Да и вообще ни в одной из рассмотренных нами групп, будь-то почвеннические или антипочвеннические, доля респондентов, полагающих, что люди в России работают, прежде всего, ради денег, не опускается ниже 58%, а доля тех, кто думает иначе (трудятся «из интереса к работе») не дотягивает до 30%.

Разумеется, отсутствие интереса к труду может характеризовать не работника, а сам труд: в массовых профессиях он, мол, так беден сегодня содержанием, что исключает вдохновение, творческие порывы, духовную сосредоточенность и тому подобные высокие побуждения, делает их противоестественными. Здесь — зацепка и точка опоры для почвеннического хода мысли: русский работник, как и западный, вынужден работать ради денег, выступать в ипостаси «экономического человека», но, в отличие от западного, она для него неорганична, несовместима с его самобытным складом, с его поисками во всем высшего смысла, а потому и не могут деньги заставить его быть столь же дисциплинированным, аккуратным и старательным, как его коллеги в США или Германии.

Но это ведь — продолжим отслеживание почвеннической логики — из разряда тех недостатков, которые есть продолжение достоинств. Изменяются условия, произойдет переход от индустриальной цивилизации к постиндустриальной, и сегодняшние слабость и неприспособленность обернутся преимуществом. Повысится спрос на творчество, на осмысленно-духовные побуждения к труду, уйдут в прошлое потребительский ажиотаж, погоня за материально-чувственными наслаждениями, в которой Запад и сам уже выдыхается и задыхается, и вот тогда-то российский работник скажет свое веское историческое слово. Единственное, что для этого нужно, — удержать его от соблазнов западного потребительства и «вещизма», жадности внешнего, измеряемого в деньгах успеха, от измены собственной самобытной природе.

Мы готовы со всей серьезностью относиться к таким рассуждениям. Но мы, в силу своей профессии, должны проверять экс-

пертные суждения о народе и о том, каким ему желательно быть или не быть, суждениями о себе самого народа. И мы видим, что к западным стандартам потребления он, в большинстве своем, относится без высокомерия и предубеждения, а наоборот, с симпатией и желанием их достигнуть. Не отличается он и самомнением относительно своих преимуществ перед западными народами по той простой причине, что не склонен их себе приписывать: и вообще, и в том, что касается идеально-творческих побуждений к труду.

Да, значительная часть опрошенных (44%) полагает, что российский работник ярче всего проявляет себя в творческой работе, хотя немало (36%) и тех, кто считает его лучше приспособленным к монотонному, рутинному труду. Наверное, довольно широко распространенное мнение о предрасположенности россиян к творчеству питается осознанием вклада России в мировую науку и культуру, несопоставимого с общей эффективностью ее экономики, качествами рядового российского работника и уровнем жизни населения. Но ведь этот вклад, эти уникальные достижения, как и везде, стали возможными благодаря усилиям и подвижничеству немногих, и они ровным счетом ничего не говорят о предрасположенности большинства.

Да и в том, что касается уникального, Россия не может претендовать на первенство. И наши соотечественники, судя по всему, отдают себе в этом ясный отчет: 51% опрошенных считает, что западный работник тоже лучше проявляет себя не в монотонно-рутинной, а в творческой деятельности, и только 18% придерживаются противоположной точки зрения. Сравнив эти цифры с соответствующими данными, характеризующими работника российского, нетрудно обнаружить, что по части предрасположенности к творчеству россияне отдают даже некоторое предпочтение западным народам и уж во всяком случае, не усматривают в этом самобытного преимущества того народа, к которому принадлежат сами.

При этом бросается в глаза существенная деталь: творческими данными его чаще наделяют представители почвеннических групп, между тем как в антипочвеннических эти данные оцениваются заметно скромнее. Так, в составе *коллективистов* таких 53% при 32% думающих иначе, то есть считающих, что русский работник больше приспособлен к рутинному труду (среди *антиколлективистов* соответственно 37 и 45%). И в этом отношении «коллективисты» отнюдь не лидеры. Можно предположить, что в почвеннических группах само слово «творчество» ассоциируется не только с достижениями отечественной культуры и науки, но и, учитывая их повышенные симпатии к советской повседневности, с тем расшири-

тельно-девальвирующим смыслом, который придавался этому слову официальной советской пропагандой («творчество на каждом рабочем месте»).

Однако что бы за этим ни стояло, мы можем уверенно утверждать: риторика о «постэкономическом» человеке, призванном сменить человека «экономического», в наибольшей степени соответствует представлениям именно **почвеннических** групп российского населения, то есть групп, где меньше всего молодежи и больше всего пожилых людей, а образ будущего во многом заимствован из недавнего прошлого. Получается, таким образом, что идеал «постэкономического» человека, освободившегося от всепоглощающей озабоченности материальным комфортом, от ига «меркантилизма и вещизма», идеал, к которому русский народ якобы ближе, чем народы западных стран, уходит своими корнями, прежде всего, в умонастроения и психологию тех людей, чей активный возраст уже позади и чьи надежды на будущее черпаются в значительной степени из опыта советской производственной и прочей повседневности.

Но дело не только в этом. Допустим даже, что духовные качества русского работника больше отвечают требованиям постиндустриальной цивилизации, чем соответствующие качества работника западного. Но ведь прежде чем жить и трудиться в этой цивилизации, в нее надо **войти**, и главный вопрос в том-то и заключается, как перескочить из исторического времени, к которому мы приспособлены плохо, в историческое время, которое будет соответствовать тому лучшему (идеально-творческому) в нас, что сегодня не находит должного спроса. Если спроса нет, то откуда он возьмется, и кто его обеспечит? Надо ли полагать, что речь опять идет о «великом прорыве», столь же самобытным, как наш прорыв в цивилизацию индустриальную, когда ради уникально-прекрасного будущего требовался не менее великий отказ от настоящего, когда духовное (идейное, сознательное) претендовало на замещение материального, элементарный бытовой комфорт приравнивался к «пережитку прошлого», а бедность объявлялась чуть ли не главной добродетелью?

К сожалению, идеологи и политики, рассуждающие сегодня о самобытности России и ее «особом пути», не только не отвечают на эти вопросы, но и не задаются ими. Создается впечатление, что образ русского человека и русского работника целиком заимствован из раннесоветской (довоенной) эпохи без учета даже тех изменений, которые произошли еще при коммунистическом режиме. Уже советская власть столкнулась и была вынуждена считаться с тем, что по мере превращения СССР в индустриально-городскую страну и укоренения массового городского быта духовные

(«моральные») побуждения к труду перестают действовать, что бедный человек, лишенный перспектив улучшения своей жизни и обеспокоенный только физическим выживанием, работает хуже, чем человек, который стремится к комфортному индивидуальному существованию, соответствующему современным стандартам.

Можно сколько угодно рассуждать о том, что выше и что ниже (материальное или духовное), но эти рассуждения имеют смысл лишь тогда, когда элементарный комфорт обеспечен, когда он перестает быть проблемой. Если люди гордятся бедностью и стыдятся достатка, если они трудятся, будучи безразличными к улучшению своего благосостояния, то это, может быть, и самобытно, но от такой самобытности, от **такого** возвышения «постэкономического» или «доэкономического» человека над «экономическим» россияне отказываются, хотя часть из них и не уверена, что отказ приобрел общенародный масштаб. Однако уверенных все же больше.

Из приведенной выше таблицы видно: почти половина опрошенных (46%) считают, что люди в России работают тем лучше, чем выше их достаток, и около трети (31%) полагают, что россияне хорошо трудятся лишь пока они бедны. Эти цифры заметно отличаются от тех, которые фиксируют восприятие соответствующих особенностей западного работника (64 и 10%), но все же не настолько, чтобы рассматривать их как массовую солидарность с почвенническими представлениями о присущих русскому человеку самобытных побуждениях к труду, возвышающих его над человеком «экономическим». Более того, мы беремся утверждать, что даже те, кто условием хорошей работы своих соотечественников считает их бедность, чаще видят в этом не самобытное преимущество, которым надо гордиться, а самобытный недостаток, с которым приходится считаться.

Дело в том, что именно в почвеннических группах, в которых российский работник во всех отношениях оценивается выше, чем в антипочвеннических, такие представления распространены меньше всего. И наоборот. Если в первых хорошую работу русского человека связывают с бедностью 24-33% их представителей (с заботой об увеличении достатка 44-58%), то во вторых 33-43% (со стремлением увеличить достаток 38-50%).

Очевидно, почвенники, чувствуя себя самыми ущемленными и больше других склонные к самоотождествлению со всем народом, имеют в виду прежде всего самих себя: они выглядят в собственных глазах способными и готовыми хорошо работать, но не ради консервирования своей бедности и самоудовлетворения в ней, а ради того, чтобы из нее выйти. Они потому и почвенники, что их нынешнее неблагополучие кажется им несправедливым, оно

не соответствует их высокой самооценке как работников или их представлению о своих прошлых заслугах (если они вышли на пенсию). Представители же антипочвеннических групп, судя по всему, имеют в виду не столько себя, сколько других: ведь они склонны отделять себя от народного большинства и свою лучшую приспособленность к нынешней жизни или надежду приспособиться к ней объяснять неразвитостью у этого большинства экономических побуждений к труду, желания «крутиться» и зарабатывать, чтобы сделать зажиточнее собственное существование.

Как бы то ни было, представители почвеннических групп, чаще других наделяющие российского работника идеально-творческими побуждениями к труду, вовсе не считают при этом, что экономическая мотивация ему противопоказана. Наоборот, именно в их сознании образ человека-творца чаще всего накладывается на образ человека «экономического», отнюдь не безразличного к тому, как вознаграждается его творчество и вознаграждается ли вообще. Так что пока нам, при всем желании, не удастся обнаружить в представлениях народа о самом себе тех самобытных достоинств, той особой трудовой мотивации, которые принципиально отличали бы его, а тем более возвышали над народами западных стран.

Быть может, он в своей самооценке ошибается, быть может, занижает ее. Однако у нас нет доказательств, чтобы утверждать это. У кого есть — пусть предъявит. Но — доказательства, а не возвышенные декларации, свидетельствующие о благородных «постэкономических» идеалах их авторов и не имеющие отношения к тем реальным сегодняшним людям, от имени которых они выступают.

Сказанное вовсе не означает, что постсоветский рядовой человек вообще не видит никакой разницы в трудовой мотивации между российским и западным работником, и что все рассуждения на сей счет отечественных почвенников абсолютно беспочвенны. Мы говорим лишь о том, что такая разница не просматривается или просматривается довольно слабо в представлениях об **индивидуальных** побуждениях к труду (деньги, достаток, интерес к содержанию работы, творчеству). И она обнаруживают себя во всей своей рельефности и выразительности, когда речь заходит о специфически-российских **дополнениях** к этим побуждениям или компенсации их недостаточности. В данном отношении отечественный работник выглядит в глазах россиян весьма самобытным, и его образ мало чем отличается от того, который рисуют нынешние идеологи нашего почвенничества. Образ этот навеян воспоминаниями о давнем, а еще больше — о недавнем прошлом, в нем причудливо переплетаются реальности, соответствующие советским официально-идеологическим предписани-

ям, и реальности, существовавшие вопреки им, советское «как надо» и советское «как было».

Ключевыми в коммунистической системе трудовой мотивации были слова «общее дело». Каждый человек должен был осознать и прочувствовать, что он работает в первую очередь не на себя, а на страну, государство, народ, на всех живущих не только в Советском Союзе, но и в любой точке земного шара, куда тоже непременно придет социализм, причем тем быстрее, чем нагляднее и убедительнее будут успехи и достижения его первопроходцев. Это осознание и это чувство призваны были возвышать людей в собственных глазах благодаря их личной причастности к чему-то важному, великому, всемирно-историческому. Секрет успеха идеологии «общего дела» заключался не только в том, что она принуждала человека к тому, что ему чуждо, а в обращении к его индивидуальности и придании ей беспрецедентной значимости: ей предлагалось слиться с великими надличными целями, сделать их своим основным убеждением и побуждением, но не для того, чтобы раствориться в них, а чтобы именно таким образом выделиться и утвердиться. «Радуюсь я, это мой труд вливается в труд моей республики» — лучше не скажешь. Республика — *моя*, но ударение все же на *моем труде*, на личном, а не на общем, при всем том, что и оно слито с личным.

В этом и было коренное и непреодолимое противоречие советской идеологии «общего дела», оно в конечном счете и взорвало ее изнутри. Личные достижения надо было вознаграждать (орденами, званиями, почестями, сталинскими и прочими премиями, статьями и портретами в газетах и журналах), их приходилось даже приписывать специально назначавшимся героям труда, чтобы маяк стимулирования не погас. Однако подавляющее большинство людей в разрядки на вознаграждения не попадало и попасть не могло, а других легальных возможностей выделиться и улучшить свою жизнь попросту не существовало.

Отсюда — вопиющие несоответствия и двусмысленности, в которых власти все больше запутывались: они должны были идеологически возвышать энтузиазм сибирского и прочего первопроходчества, но так как энтузиастов со временем становилось все меньше, то им приходилось приплачивать, а так как приплачивание не совпадало с буквой и пафосом идеологии, то людей, простимулированных им, приходилось осуждать, как гонящихся за «длинным рублем». Отсюда же и отчаянные, но бесплодные позднесоветские попытки романтизировать раннесоветское, особенно военное, прошлое, придать ему актуально-мобилизационное звучание, возродить пафос «общего дела» в условиях, когда размылся и образ врага, и оборонное сознание, а главное — вера в то, что советское первопроходчество способно увлечь за собой весь мир.

Уже само по себе это смещение акцентов с будущего на прошлое, это желание придать ему статус **традиции** («революционной, боевой и трудовой»), на которую можно было бы опереться для сохранения и укрепления режима, как хотели власти, или для его самоочищения, на что надеялись многие интеллигенты-шестидесятники, свидетельствовало о глубочайшем и необратимом кризисе и отсутствии исторической перспективы.

Можно было романтизировать строительство новых городов и заводов, освоение целины и покорение космоса, можно было без успеха использовать для этого слова «битва», «сражение», «штурм», «борьба» и другие термины из военного лексикона, но войну и соответствующее ей психологическое состояние нельзя увековечить, она может вестись только ради мира, а не самой себя. А мир — это когда люди должны верить, что в их стране положение с «мясом и молоком на душу населения» может быть не хуже, чем у других, и им это приходилось обещать. Но тут-то и выясняется, что героизировать работу по обслуживанию повседневных потребностей человека и придать ей ореол «общего дела» невозможно в принципе, тут даже язык сопротивляется: «Комсомольск строит вся страна» — это сказать можно, а вот к мясу, молоку и одежде «вся страна» как-то не прикладывается, при всем том, что каждого в отдельности эти вещи могут интересовать не меньше, чем возведение нового города на Дальнем Востоке.

Однако нам сейчас важно все же не то, почему рухнула коммунистическая система стимулирования труда. Нам важно то, что ее очевидные слабости и противоречия, даже само ее крушение отнюдь не мешает многим идеологам почвеннического направления искать и находить главную самобытную особенность русского работника, отличающую его от западного, в его предрасположенности к служению «общему делу». И такие представления, как показывают полученные нами данные, соответствуют представлениям значительной части россиян, во всяком случае, у нас нет оснований утверждать, что народная экспертиза их целиком и полностью отвергает.

Напомним, что 45% опрошенных считают: людям в России важно, чтобы их работа служила общему делу, и 39% полагают, что главное для россиян в работе — их личный интерес. Соответствующие данные, фиксирующие представление о западном работнике, разительно отличаются (12 и 66%). Мы не можем сколько-нибудь достоверно говорить о том, что именно понимают под «общим делом» те, кто видит в нем главный побудительный мотив трудового усердия россиян. Но что сами такие представления навеяны прошлым (прежде всего советским), вряд ли может вызывать какие-либо сомнения.

Это подтверждается, в частности, тем, что в данном отношении почвеннические группы на общем фоне довольно заметно выделяются, но не все, а лишь три — *коллективисты, государственники и уравнители*. В их рядах доля людей, считающих «общее дело» основным побудителем россиян к труду, составляет 56-58% (личный интерес поставили на первое место 30-33%). И это весьма показательно, это проливает дополнительный свет и на воспевание «общего дела», и на благосклонное отношение к таким самобытным особенностям наших сограждан, как коллективизм, предрасположенность к уравнительной справедливости и готовность подчинять личные интересы интересам государства.

Все связано, все растет из одного корня. Человеку трудно справиться со своей жизнью, надеясь только на себя и близких, и он ищет, чем бы и кем бы себя дополнить, хочет прислониться к некому единому «мы» (общенародному или «мы» трудового коллектива), которое должно быть скреплено государством, гарантирующим каждому в обмен на участие в «общем деле» и готовность к самоограничению ради него справедливое, то есть никого чересчур не возвышающее и не принижающее, вознаграждение. Естественно, что эти желания возводятся в ранг нормы, самобытной традиции, присущей всему народу, — в противном случае упование на единое «мы» было бы бессмысленным.

Однако при всем этом даже у почвенников трудно обнаружить ностальгию по воспетому поэтом: «Радуюсь я, это мой труд...» Причастность к «общему делу» и служение ему ценятся тут не сами по себе, а как гарантия востребованности со стороны государства, это «общее дело» символизирующего, как делегирование ему ответственности за обеспеченность своего **частного** проживания. Тут не психология воинской повинности и воинского долга, не мотив «одной на всех победы», ради которой «за ценой не постоим», а представление о своего рода негласном и неписаном контракте: благополучие в обмен на службу. И когда он нарушается, мы слышим: «Я двадцать (тридцать, сорок) лет **отработал на государство**, а мне уже год не платят зарплату (пенсию)». Не на себя, а на государство!

Это и есть сегодня идеология и философия «общего дела» в их преломлении в массовом сознании. Отсюда и противоречивость, расщепленность образа российского работника: одним и тем же людям он видится, с одной стороны, работающим во имя «общего дела», а не личного интереса, с другой — ради денег, которые, надо полагать, нужны человеку не ради жертвований на алтарь «общего дела». Добавив к этому, что даже многие представители почвеннических групп (около половины, а то и больше) хотят жить, «как на Западе», а к советским порядкам возвращаться не желают,

мы получим право повторить высказанное выше предположение: под «Общим делом» сегодня подразумевается «Общий строй», которым страна должна двигаться вперед, но — не к коммунизму, а к западному капитализму, строй, который каждому предоставляет место в своих рядах, не требуя взамен ни единой для всех дисциплины, ни отказа от индивидуальной свободы.

Однако полученные нами данные позволяют сказать нечто большее. Они дают представление и о том, каким видится людям этот общий строй, какую предполагает **организацию труда** и насколько последняя соответствует особенностям российского работника. Обнаруживается, что почти ни в чем другом он не выглядит в глазах наших респондентов столь самобытным и столь разительно отличающимся от западных людей, как в этом. Почти две трети опрошенных (63%) считают, что русский работник проявляет свои лучшие качества в критических обстоятельствах, и только 23% полагают, что он лучше приспособлен к работе в обычных повседневных условиях. Цифры, характеризующие восприятие западного работника, принципиально иные (соответственно 14 и 54%), причем расхождения в оценках выглядят заметно рельефнее, чем в случае с «общим делом».

Эти расхождения, скорее всего, объясняются тем, что «общее дело» в восприятии многих россиян слишком перегружено идеологическим смыслом, ассоциируемым с советской эпохой и в значительной степени успевшим утратить какую-либо конкретность. Разумеется, в ту же эпоху уходят своими корнями и представления о приспособленности россиян к работе в критических обстоятельствах. Но тут речь идет не столько об идеологической, сколько о **психологической** реальности, о типе человека и его внутренней мотивации, как бы очищенной от внешних стимулирующих воздействий со стороны прежнего режима, который симпатий сегодня не вызывает.

При таком восприятии прошлого опыта противники этого режима получают возможность объяснять победы и успехи страны при советской власти не ее, власти, заслугами, не созданным ею режимом перманентной чрезвычайщины, а качествами народа, его высокой приспособляемостью к необычным, небудничным условиям, требующим самоотверженности и подвижничества. Такое толкование полученных нами данных вполне допустимо хотя бы потому, что оно учитывает и ту особенность россиян, которую наши респонденты считают самой важной и ценной и которая видится им в способности народа действовать и добиваться успехов вопреки власти, а не благодаря ей.

И все же у нас нет оснований говорить о том, что люди, фиксируя повышенную приспособляемость своих соотечественников к

работе в критических обстоятельствах, горюют по поводу не востребо­ванности этого качества в нынешних условиях. Тут есть кон­статация, но нет оценки, есть подведение итогов прошлого, но нет пожелания на будущее. Уже одно то, что респонденты заметно реже (почти в полтора раза) наделяют россиян склонностью к служению «общему делу», чем предрасположенностью к работе в критичес­ких обстоятельствах, в данном отношении весьма симптоматич­но. Ведь в реальной жизни одно без другого попросту не существо­вало, и существовать не могло; проявлять себя в чрезвычайных условиях (будь-то война, землетрясение, пожар или форсирован­ное завершение ударной стройки к назначенной в Кремле дате) — это и означало обнаружить в себе готовность слиться с «общим делом». Между тем полученные нами данные свидетельствуют о том, что ощущение такой связи одного с другим в массовом со­знании ослабевает.

Показательно, что почвеннические группы, в которых мы зафик­сировали повышенный процент людей, считающих важной особен­ностью россиян их стремление служить «общему делу», эти свои отличия утрачивают, когда речь заходит о предрасположенности русского работника к труду в экстремальных условиях; тут они уже почти ничем не выделяются ни из общей массы опрошенных, ни на фоне антипочвенников. Но если так, то, быть может, даже те, кто движение к западному капитализму рассматривают сквозь туман­ную дымку движения к коммунизму (наличие «общего дела» и «об­щего строя»), вовсе не имеют в виду былые трудовые «штурмы», «сражения» и «битвы»? Быть может, они тоже всего лишь отдают дань прошлому, в котором русский работник демонстрировал ред­кую приспособляемость к чрезвычайным обстоятельствам, но воз­рождать эти обстоятельства вовсе не хотят, а хотят совсем друго­го — научиться, подобно западному работнику и с не меньшим, чем у него, успехом, приспосабливаться к обстоятельствам обычным, неэкстремальным?

При советской власти такую школу им пройти не удалось, хотя переход от чрезвычайщины к повседневной обыденности начался уже тогда. Но плановая, управляемая из единого центра экономи­ка обеспечить этот переход не могла именно потому, что ритмич­ную повседневную работу каждого из десятков миллионов работ­ников никакой Госплан обеспечить не в состоянии. В результате же на смену когда-то вдохновлявшим многих, но исчерпавшим себя трудовым **штурмам** приходила никого не воодушевлявшая **штур­мовщина**, ставшая нашей особой («самобытной») обыденностью, повторяющейся из месяца в месяц: две первые декады — простой, третья — аврал.

Но аврал, превращаясь в обыденность, неизбежно лишался ро-

мантического ореола «общего дела» именно потому, что переставал восприниматься как нечто чрезвычайное. Штурм мобилизует его участников; штурмовщина — расхолаживает. Поэтому за ударный (сверхурочный) труд, без которого нельзя было обойтись после очередного длительного простоя, приходилось приплачивать, договариваясь или со всеми сразу (с трудовым коллективом), или с теми или иными работниками в отдельности.

Иногда на основании этого опыта делались и делаются любопытные обобщения. Говорится, например, что такой трудовой ритм — долгая раскочка с последующим кратковременным сверхнапряжением — для нас вполне органичен, что не в перебоях со снабжением надо искать его истоки, а в культурно-исторических особенностях русского работника, производными от которых и были специфические особенности советской системы хозяйствования. Имеется в виду не только то, что его стихия — аврал, в котором он сливается с другими людьми, но и то, что на работе он нуждается, прежде всего, в общении, в дружеских контактах, которые при ритмичном, с полной отдачей, повседневном труде становятся невозможными, а потому такой труд русского человека тяготит и быстро утомляет, лишает его сосредоточенности и целеустремленности. С природой, мол, не поспоришь, ничего путного из этого все равно не получится.

Что касается авральной психологии, то мы могли убедиться: наши респонденты в подавляющем большинстве своем тоже считают, что российский работник лучше всего проявляет себя в критических, чрезвычайных обстоятельствах. Но мы знаем также, что позднесоветские авралы перестали восприниматься как нечто чрезвычайное, так как сами стали обыденностью. Знаем мы и то, что такая организация труда завела страну в тупик, привела в состояние, которое впоследствии было названо застоем. Ну, а как относятся россияне к мысли о том, что для русского человека, в отличие от западного, работа — это прежде всего пространство дружеского общения, теплота и насыщенность эмоциональных контактов, без которых труд ему не в радость, а в тягость? Что говорят на сей счет данные народной экспертизы? Совпадают ли они с представлениями профессиональных экспертов почвеннической ориентации?

Да, совпадают — тут двух мнений быть не может. Большинство опрошенных (60%) полагает, что для русского работника дружеские отношения в трудовом коллективе важнее самой работы; противоположной же точки зрения (для россиян на работе важнее всего их дело) придерживаются лишь 24% наших респондентов. Образ западного работника и в данном отношении принципиально иной, что и нашло свое выражение в цифрах (соответственно 8

и 69%). И опять-таки различия между почвенническими и антипочвенническими группами здесь почти не просматриваются, а если иногда просматриваются, то в них не обнаруживается строгой логики. Но это дает нам право утверждать, что и тут речь идет лишь о фиксации определенной особенности российского работника, а не о ее оценке.

К сожалению, наши данные не позволяют сказать об этой оценке что-либо определенное. Тем не менее, учитывая ориентации большинства респондентов на западные стандарты потребления и западный образ жизни в целом (а он включает в себя труд), равно как и то, что западный работник, в отличие от русского, выглядит в глазах опрошенных прежде всего работающим, а не общающимся, можно предположить, что эта особенность последнего предмета национальной гордости не составляет. В какой-то степени об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что людей, считающих ценной самобытной чертой россиян их склонность переводить деловые отношения в дружеские, в стране в шесть раз меньше (всего 10%), чем тех, кто полагает, что для русского человека дружба на работе важнее самой работы.

Короче говоря, мы не склонны считать фиксируемые нашими респондентами особенности своих сограждан, а именно — их предрасположенность к труду в экстремальных условиях и к превращению работы в придаток дружеских отношений на работе чем-то раз и навсегда данным, фатально непреодолимым, архетипическим. Не кажутся нам убедительными и современные аргументы типа того, что вот, мол, люди могут месяцами не получать зарплату и, тем не менее, добросовестно ходить на работу и делать свое дело в нынешних критических для них обстоятельствах не ради денег (денег не платят), а из чувства долга, руководствуясь не материальными, а духовными побуждениями, в том числе — стремлением сохранить дружеские контакты с сослуживцами и взаимное сочувствие друг к другу в выпавшие на их долю нелегкие времена. И делается вывод: на Западе такое невозможно. Вывод правильный. Но само по себе это не означает, что российский работник обладает перед западным каким-то духовными преимуществами.

Первый терпит то, что второй терпеть не станет, потому что за его спиной нет обязательного для исполнения закона, гарантирующего его права, нет защищающих его влиятельных организаций, потому, что не привык к сопротивлению и отстаиванию своих прав и своего достоинства. Однако и он такую привычку постепенно приобретает, а свое долготерпение все чаще осуждает. Если же он ходит на работу, не получая за нее никакого вознаграждения, если не может заставить с собой считаться, то в этом проявляется его духовная слабость, а не сила.

Образ российского работника, сложившийся в массовом сознании, вполне соответствует отечественному историческому опыту и не соответствует тому опыту, которого не было и, строго говоря, нет до сих пор. Люди помнят трудовые штурмы и сражения, в результате которых страна стала индустриальной сверхдержавой и поэтому убеждены в том, что россияне проявляют свои лучшие качества в критических, а не в обычных обстоятельствах. Они помнят и то, что штурмы сменились штурмовщиной, при которой кратковременные авралы чередовались с долговременными простоями, высвобождавшими время для общения, позволяющими превращать работу одновременно и в досуг. Наши сограждане успели к этому привыкнуть, и многих из них это вполне устраивало, в том числе, и потому, что иных мест, кроме работы, для общения не было: вряд ли к чему другому власти относились столь настороженно, как к идее освобождения досуга от контроля и организующего идеологического воздействия со стороны государства.

СССР был городской страной без массового городского быта в широком смысле этого слова; в 70-е годы в печати всерьез обсуждался, но так и не был решен вопрос о том, допустимо ли, чтобы в бесчисленных клубах и домах культуры можно было собраться дружеским кругом и поговорить «за чашечкой кофе». Удивительно ли, что в таких условиях, при такой организации труда и досуга дружеские контакты на работе выглядели более важными и ценными, чем сама работа?

Мы не исключаем, что в особенностях русского работника, зафиксированных нашими респондентами, есть что-то самобытное и неподвластное времени. Но у нас нет никаких оснований утверждать, что ему категорически противопоказана та система трудовой мотивации, которая утвердилась (кстати, тоже не сразу) на Западе. Потому что такая система ему не предлагалась и не предложена до сих пор. Суть ее проста: экономическая независимость от государства и зависимость дохода от квалификации и индивидуального усердия, оцениваемые не начальством, а рынком, обеспечивающим занятость большинства людей и конкуренцию между ними. И до тех пор, пока такая система не предложена, скромные оценки россиянами качеств отечественного работника (по сравнению с западным) в равной степени относятся и к самобытно-российским системам стимулирования труда, свидетельствуя об их исторической истерпанности.

Демократы-западники и социалисты-реставраторы

До сих пор мы почти не говорили о том, что представления о тех или иных самобытных особенностях россиян и даже их высокая или, наоборот, низкая оценка у разных людей могут наполняться совершенно разным смыслом. Между тем уже одно то, что среди представителей почвеннических групп выявилась разновекторность политических ориентаций, что в их составе сосуществуют сторонники компартии и приверженцы ее противников, понуждает нас задаться вопросом: может быть, люди, придающие большое значение коллективизму или, скажем, самобытной российской духовности, отнюдь не едины в своих представлениях о самих этих ценностях?

Приблизиться к ответу на этот вопрос, а заодно и выяснить, насколько правомерна сама его постановка, нам помогут данные о восприятии русской самобытности представителями двух групп, принципиально отличающихся друг от друга именно своими **политико-идеологическими** воззрениями. Входящие в состав первой из них (они составляют 41% опрошенных) объединены желанием видеть Россию страной с рыночной экономикой, демократическими свободами и соблюдением прав человека; входящие во вторую (12% от общей численности наших респондентов) хотели бы, чтобы Россия вернулась к социалистическому строю.

Подробная информация о мировосприятии этих двух групп представлена в уже вышедшем бюллетене «Русские идеи», подготовленном нашим институтом на основе данных того же опроса. Для тех, кто с этим бюллетенем не знаком, считаем нужным сообщить: *демократы-западники и социалисты-реставраторы* (так мы условно назвали эти группы) представляют собой два крайних полюса современного российского общества во всем, что касается отношения не только к советскому прошлому, но и перенесению на отечественную почву западного опыта и западных достижений. Разительно отличаются они и своим политическим поведением — среди первых почти нет сторонников компартии, а среди вторых они составляют подавляющее большинство.

О том, как *демократы-западники и социалисты-реставраторы* понимают российскую самобытность, в «Русских идеях» упоминалось лишь вскользь; в основном, об этом придется говорить впер-

вые. Кроме того, мы воспользуемся данными, которые до сих пор не приводились вообще, но которые имеют самое непосредственное отношение к рассматриваемой теме. Речь идет о том, как выглядит в глазах демократов-западников и социалистов-реставраторов жизнь западного человека (и сам человек) в сравнении с жизнью россиян.

Два взгляда на российскую самобытность

Начнем с того, что представим всю совокупность воззрений представителей этих групп относительно своеобразия России и ее народа.

Таблица 7. Представления «демократов-западников» и «социалистов-реставраторов» о самобытных особенностях России и ее народа и оценка ими этих особенностей (данные в % от численности каждой группы)

	Что из перечисленного лучше всего выражает Ваше представление об особенностях России, о самобытности ее народа?		Какие из особенностей России являются, на Ваш взгляд, ее достоянием, способствуют ее величию?		Какие из особенностей России и ее народа, на Ваш взгляд, мешают России стать процветающей страной?	
	Демократы-западники	Социалисты-реставраторы	Демократы-западники	Социалисты-реставраторы	Демократы-западники	Социалисты-реставраторы
Терпеливость	71	70	34	39	30	23
Жизнестойкость	68	61	59	54	4	4
Привычка довольствоваться малым	56	56	10	19	39	28
Склонность во всем уповать на власть	55	48	2	6	49	37
Духовность	52	61	44	54	3	2
Покорность	51	53	4	6	42	41
Коллективизм	49	72	32	63	10	3
Обостренное чувство справедливости	42	56	17	40	19	6
Преданность государству	41	60	29	47	6	8
Склонность россиян решать жизненные проблемы в обход закона	35	26	3	3	28	23

Склонность переводить деловые, официальные отношения в дружеские, неформальные	34	28	11	13	17	14
Склонность считать, что порядок в стране важнее политических свобод	26	32	4	16	18	10
Нетерпение	22	10	1	2	17	7
Обостренность чувства внешней опасности, военной угрозы	15	13	3	3	8	6
Ничто из перечисленного	0	0	0	0	0	1
Затрудняюсь ответить	1	4	1	3	2	3
Нет ответа	0	0	12	4	10	16

Варианты ответов приводятся в сокращенном виде; полностью они представлены в таблице 1.

Прежде чем комментировать эти данные, еще раз напомним: речь идет о группах, представители которых стоят на диаметрально противоположных политических и идеологических позициях. Одна из них ищет будущее в советском прошлом, которое хотела бы реставрировать во всех его деталях и подробностях, другая — в западном настоящем, которое хотела бы перенести на российскую почву. Как же сказываются эти непримиримые разногласия на представлениях о российской самобытности, а главное — на ее оценках?

Первое, что обращает на себя внимание: представление о самобытности людям обозначить легче, чем оценить ее. В обеих группах не нашлось ни одного человека, который не захотел бы ответить на вопрос о том, в чем он видит особенности России и ее народа. А вот подводить эти особенности под рубрику «хорошо» или «плохо» пожелали не все. *Демократы-западники* испытывали, похоже, повышенный дискомфорт, а быть может, и раздражение, когда им предлагалось выставить положительные оценки (12% отказавшихся отвечать при 4% среди *социалистов-реставраторов*), а их оппоненты чаще испытывали аналогичные чувства, когда им предстояло из предложенного списка самобытных особенностей выбрать самые непривлекательные (16% отказавшихся отвечать при 10% среди *демократов-западников*).

Конечно, эти цифры сами по себе не очень впечатляющие, но в них просматривается вполне определенная тенденция, с более

ярким и даже неожиданным проявлением которой нам еще предстоит столкнуться. Суть ее в том, что людям, живущим ностальгическими воспоминаниями о советском прошлом, труднее выступать в роли критиков своей страны и своего народа и легче находить в нем самобытные достоинства, чем тем, кто это прошлое не приемлет.

И все же подавляющее большинство в обеих группах не только обозначило свои представления о русской самобытности, но и высказало свое отношение к ней. Отношение это, как и следовало ожидать, не одинаковое, причем в ряде случаев различия выглядят весьма выразительно. Однако есть немало и такого, что *демократов-западников* и *социалистов-реставраторов* сближает, и эта близость, учитывая разнонаправленность их политико-идеологических установок, представляется нам чрезвычайно существенной. Ведь если столь разные люди одинаково реагируют на одни и те же слова, то это означает одно из двух: или не совпадает смысл, который в эти слова вкладывается, или они вообще не касаются существа разногласий. Как же обстоит дело в нашем случае?

Интересующие нас группы близки в том, что касается, с одной стороны, оценки взаимоотношений человека и власти, с другой — отношения к индивидуальному благосостоянию, точнее — к его необеспеченности. Каждое из этих проявлений заслуживает того, чтобы на нем остановиться отдельно.

Как *демократы-западники*, так и *социалисты-реставраторы* высоко оценивают способность россиян к деятельности и саморазвитию вопреки запретам и притеснениям со стороны властей (соответственно 59 и 54%) и достаточно критически отзываются о таких особенностях своих соотечественников, как покорность перед властью (42 и 41% отрицательных оценок) и склонность во всем уповать на нее (49 и 37%). Конечно, последние две цифры довольно заметно отличаются друг от друга, но именно они помогают лучше понять разницу содержания, которым наполняются одни и те же слова в группах, пребывающих в состоянии идеологического и политического противостояния.

Социалисты-реставраторы более сдержаны в своем неприятии самобытно-российского упования на власть не потому, что считают его полезным для страны и для себя лично (так и среди них почти никто не считает), а потому скорее всего, что не приемлют власть **нынешнюю**: ведь именно она призывает надеяться не на нее, а на собственные силы. Поэтому же, можно предположить, многие из них среди негативных особенностей своего народа выделяют его покорность: она выглядит в их глазах опорой чуждой им власти, способствующей ее самосохранению. Что же касается такой особенности россиян, как их способность жить и

развиваться **вопреки** власти, то тут, надо полагать, имеется в виду не то, что есть сейчас (сейчас и «вопреки» не очень получается), а то, что было раньше.

Мы имеем основания утверждать, что у *демократов-западников*, о возврате к социалистическому строю не помышляющих и все советское, как правило, отторгающих, те же слова вызывают совсем другие образы и ассоциации. Разумеется, и среди них далеко не все готовы слагать гимны в честь нынешней власти. Но они отдают ей предпочтение перед той, которую она сменила. Если же *демократы-западники* предъявляют к ней претензии, то не потому, что хотели бы видеть ее более советской, а потому, что она выглядит в их глазах все еще **слишком** советской. Отсюда и их оценки особенностей народа в его взаимоотношениях с властью: эти оценки положительные, когда речь идет о способности противостоять власти, действовать вопреки ей, и отрицательные, когда дело касается присущей россиянам покорности перед ней или упования на нее в решении большинства жизненных проблем, что равносильно наделению ее всемогуществом ее советской предшественницы.

Власть такова, каковой ей позволяет быть общество, — вот в чем суть позиции *демократов-западников*. Да, но разве позиция *социалистов-реставраторов* не такая же? Разве не об этом свидетельствуют отмеченная выше близость двух групп? В том-то все и дело, что в **этом** отношении принципиальных различий между ними мы не обнаруживаем. При всем том, что *социалисты-реставраторы* хотели бы вернуть советский режим, а *демократы-западники* — улучшить постсоветский, те и другие руководствуются одним и тем же представлением о желательных взаимоотношениях между человеком и властью. Те и другие не помышляют о тотальной зависимости от нее и полном подчинении ей — из страха или в силу сыновней любви к «родному правительству» в ответ на его «отеческую заботу».

Личность отделилась от власти, осознала свои особые, отличные от интересов власти, автономные интересы, и этот эпохальный для России сдвиг почти одинаково проявляется в группах с противоположными идеологическими и политическими установками. Здесь, может быть, — зародыш и предпосылка будущего общественного согласия. Нынешнее же противостояние связано с тем, что отмеченный нами сдвиг начался не сегодня, а в позднесоветский (брежневский) период, и многим кажется: раз могло начаться, то могло и продолжаться, а раз могло начаться и продолжаться, то почему бы туда не вернуться? Ведь тогда было лучше, чем сейчас!

Но что понимается под «лучше»? Под ним понимается благосо-

стояние и защищенность человека, имеющего возможность обустроить свою частную жизнь независимо от власти, а то и вопреки ей, а не его готовность поступаться ради нее и провозглашаемых ею отдаленных целей своим благополучием. И очень даже показательно, что *социалисты-реставраторы* сближаются с *демократами-западниками* не только в своих представлениях о желательных взаимоотношениях человека и власти, но и в том, что так или иначе касается обеспеченности благосостояния и самобытной предрасположенности россиян мириться с необеспеченностью.

Представители обеих групп среди важнейших самобытных особенностей россиян называют их терпеливость (готовность в течение длительного времени переносить трудности и лишения) и привычку довольствоваться малым — в этом отношении *социалисты-реставраторы* и *демократы-западники* ничем друг от друга не отличаются. Но самое интересное заключается в том, что различия в **оценках** этих особенностей тоже не очень значительны. Так, терпеливость оценили положительно 34% *демократов-западников* и 39% *социалистов-реставраторов* (процентное соотношение отрицательных оценок 30:23), а довольство малым — соответственно 10 и 19% (соотношение отрицательных оценок 39:28).

Конечно, настроения *социалистов-реставраторов* больше, чем настроения *демократов-западников*, соответствуют славянофильскому идеалу терпения и «простоты жизненных потребностей». Но все же, повторим, различия не столь существенны, как можно было бы предположить; совершенно очевидно, что и в сознании *социалистов-реставраторов* этот идеал размывается, вытесняясь идеалом повышающегося благосостояния. В своих желаниях рассматриваемые группы ближе к согласию, чем к расколу, но они становятся непримиримыми оппонентами, когда речь заходит об **общественном строе**, при котором эти желания могут быть удовлетворены и ради установления которого надо проявлять терпеливость (или наоборот, нежелание терпеть) и прочие самобытные достоинства. *Социалисты-реставраторы* с надеждой оглядываются назад, в брежневский «развитой социализм», потому что уже в силу одного только возраста (53% их представителей старше 55 лет) недоразвитый нынешний капитализм, заставляющий их довольствоваться **слишком** малым, надежд на улучшение им не сулит. В цифрах это выглядит следующим образом: 71% *социалистов-реставраторов* (при 28% в составе *демократов-западников*) убеждены в том, что для улучшения материального благосостояния своей семьи они ничего предпринять не в состоянии.

Нынешний политико-идеологический конфликт в России — это конфликт между надеждой на нынешний политический строй и

ощущением безнадежности, которое он вызывает. При этом если надежда не воспаряет очень уж высоко над исторической реальностью, то безнадежность, наоборот, от нее отрывается. *Демократы-западники*, в большинстве своем отдавшие на президентских выборах предпочтение Б. Ельцину перед Г. Зюгановым, чаще всего не рассчитывали, что победа их кандидата приведет к быстрому улучшению их жизни. А *социалисты-реставраторы*, голосовавшие в основном за Г. Зюганова, в массе своей верили, что он, осуществив возврат к социалистическому строю, уже в ближайшее время обеспечит рост их достатка.

Безнадежность не убивает надежду, а придает ей утопическую окраску, превращает ее в упование на историческое чудо. Но будущее чудо, которого ждут от компартии ее нынешние сторонники, — это всего лишь прошлая реальность. А в прошлой реальности, даже идеализированной, нет и не может быть обаяния небывалости и первопроходчества, превращающего в быль сказку, нет и не может быть воодушевляюще-мобилизующего «догоним и перегоним», которое позволяло предшественникам КПРФ решать поставленные ими исторические задачи.

Сегодняшние сторонники компартии в своих запросах умеренны и прозаичны, что вполне соответствует их возрастному составу. Да, многие из них не хотят довольствоваться малым, полагая, что присущая россиянам самобытная неприязнительность во вред, а не во благо России и ее гражданам. Но отличаются они от *демократов-западников* не столько этим, сколько своим представлением о том, что есть «мало» и что есть «много», что — достаточно, а что — чрезмерно. Только 24% «социалистов-реставраторов» хотели бы иметь уровень благосостояния, как у большинства людей на Западе (среди *демократов-западников* 75%, то есть в три раза больше), а 70% вполне удовлетворились бы средним уровнем достатка брежневской эпохи (среди *демократов-западников* таких всего 14%, то есть в 5 раз меньше).

Таким образом, безнадежность, ищущая опору в прошлом, влечет за собой сознательное занижение жизненных стандартов (своего рода утопический реализм). У кого-то оно сопровождается романтизацией самобытного довольства малым, но чаще все же уживается с неприятием такого довольства; мирное сосуществование несовместимых вроде бы установок становится возможным в результате того, что заниженные стандарты воспринимаются не как низкие, а как нормальные и достаточные. В норму же возводится повседневность брежневских времен, то есть под «возвращением к социалистическому строю» подразумевается реанимация **разлагавшейся** коммунистической системы. Эти времена выглядят привлекательными, так как, с одной стороны, тогда уже

не надо было полностью подчинять личное «хочу» безличному государственному «надо», а с другой — само личное «хочу» казалось достижимым, сохраняющим связь с индивидуальным «могу». Западные же стандарты потребления воспринимаются как заведомо недостижимые, а потому и ориентация на них выглядит не нормой, а отклонением от нее, подлежащим устранению.

Вот что стоит, в конечном счете, за идеей возврата к социализму брежневской окраски — желание свое представление о собственном «могу» (и приведенное в соответствие с ним «хочу») распространить на всех, сделать его всеобщим. Здесь же и ключ к пониманию своеобразия *социалистов-реставраторов* в их оценках российской самобытности.

Пока речь шла о том, что сближает их с *демократами-западниками*. Теперь пришло время разобраться с существенными различиями, которые просматриваются в восприятии некоторых особенностей России и ее народа.

Эти различия наиболее выразительно выглядят в отношении к коллективизму (63% положительных оценок среди *социалистов-реставраторов* и 32% — среди *демократов-западников*), почвеннической версии взаимоотношений человека и государства (47 и 29%) и уравнительной справедливости (40 и 17%). Все встает на свои места. Советский коллективизм предполагал более или менее равное («справедливое») распределение и гарантированность определенного уровня достатка, что требует контроля над этим распределением со стороны государства, благодаря которому последнее получает моральное право требовать от граждан самоограничения и готовности поступаться ради государства своими личными интересами.

И все же обратите внимание: *государственников* и *уравнителей* в составе *социалистов-реставраторов* заметно меньше, чем *коллективистов*. Это лишний раз подтверждает высказанное нами предположение: под социалистическим строем, который *социалисты-реставраторы* хотели бы вернуть, они подразумевают именно брежневское его воплощение, когда диктат государства над человеком начал ослабевать, доходы — дифференцироваться, а их источники (легальные и нелегальные) — расширяться, становиться доступными для достаточно широкого круга людей.

Конечно, коллективизм менялся тоже; скреплявшие его государственные обручи ослабевали, внутри него возникало пространство личной автономии и неформальных отношений, а его официально-идеологическая составляющая все больше воспринималась как общеобязательный внешний ритуал. И если сегодня наши *социалисты-реставраторы* вспоминают этот коллективизм с теплым чувством, то, скорее всего, именно потому, что он символизирует

в их глазах вполне устраивающий их порядок, при котором трудовой коллектив, а фактически — стоящее за ним государство берет на себя значительную часть ответственности за судьбу отдельного человека, гарантируя ему определенные возможности для сносного существования (и даже для его улучшения) в обмен на соблюдение спущенных сверху правил политико-идеологической игры. Показательно, что в подавляющем большинстве своем *социалисты-реставраторы* не усматривают в советском коллективизме никакой принудительности и считают его **одинаково** выгодным государству и отдельному человеку.

Совсем в другом свете видится он *демократам-западникам*, в массе своей полагающим, что он обслуживал, прежде всего, государство и носил принудительный характер. И это понятно: *демократы-западники* ориентируются не на советские (времен Брежнев), а на современные западные жизненные стандарты. Советский же коллективизм воспринимается ими не с точки зрения возможностей, которые он гарантировал, а с точки зрения усреднения, нивелировки и искусственного ограничения этих возможностей. Но если так, то почему же тогда почти каждый третий *демократ-западник* называет коллективизм в числе ценных самобытных особенностей России и ее народа? Потому что — здесь нам придется внести некоторые коррективы в предшествующие рассуждения о восприятии этой ценности — коллективизм, даже при благосклонном к нему отношении, тоже может наполняться совершенно разным смыслом.

Дело в том, что образ единого общенародного «мы» и «общего строя» может ассоциироваться не только с движением к западному капитализму, о чем говорилось в предыдущих разделах, но и с позднесоветским «развитым социализмом». Так вот с движением к западному капитализму коллективизм ассоциируется прежде всего в сознании *демократов-западников*. Но на их примере хорошо видно и другое: с приверженностью западному маршруту вполне сочетаются и высокие оценки таких самобытных особенностей россиян, как преданность государству (среди *демократов-западников* тоже немало *государственников*) и даже — хотя и в меньшей степени — уравнительная справедливость. При этом, надо полагать, *демократы-западники* имеют в виду государство не советского, а западного типа, равно как и не справедливость в духе брежневской эпохи, а нечто близкое к социал-демократической экономической политике, способной преодолеть нынешние непомерные разрывы в доходах, сохраняя рыночно-демократический вектор развития.

Но особенно заметно, пожалуй, эта разница смыслов проявляется в восприятии самобытной российской духовности. Предста-

вители обеих интересующих нас групп оценивают ее достаточно высоко: 54% *социалистов-реставраторов* и 44% *демократов-западников* назвали ее в числе ценных особенностей России и россиян. Почти не отличается и их понимание этой духовности; в частности, и среди *социалистов-реставраторов*, и среди *демократов-западников* чаще всего встречается представление о ней, как о «вере в будущее, помогающей терпеливо переносить трудности настоящего» (соответственно 53 и 57%). Однако будущее ведь при этом имеется в виду совершенно разное!

Итак, одни и те же представления о национальной самобытности могут уживаться с полярно противоположными представлениями о желательном историческом маршруте развития страны, могут сочетаться как с последовательным западничеством, так и с принципиальным антизападничеством. Но что же все-таки стоит за отторжением западных жизненных стандартов нашими *социалистами-реставраторами*? Только ли ощущение недостижимости этих стандартов и пассивное примирение с ней без каких-либо психологических и иных компенсаторов? Может быть, Россия наделяется какими-то другими достоинствами, которых западные народы кажутся лишенными? И если да, то отличаются ли в данном отношении *социалисты-реставраторы* от *демократов-западников*?

Чтобы понять это, посмотрим, как представители обеих групп воспринимают особенности России в сравнении с Западом не только с точки зрения достигнутого уровня материального благополучия, но и по широкому кругу вопросов, касающихся самых разных проявлений человеческой жизни.

Образы России и Запада

Полученные нами данные позволяют осуществить такой анализ по трем направлениям:

1. Оценки *демократами-западниками* и *социалистами-реставраторами* уровня благосостояния в России и на Западе;
2. Оценки социально-психологических условий проживания в России и на Западе (их восприятие с точки зрения справедливости, защищенности основных прав и свобод, уверенности в завтрашнем дне и т. п.);
3. Оценка самого человека, его интеллектуально-духовных качеств в России и на Западе.

Что касается представлений об уровне благосостояния, то здесь принципиальных различий между двумя группами не просматривается. Так, 52% *демократов-западников* и 51% *социалистов-рес-*

тавраторов считают, что в странах Запада уровень этот намного выше, чем в России. Довольно много в обеих группах и тех, кто полагает: благосостояние западных людей настолько выше благосостояния россиян, что сравнивать одно с другим не имеет смысла. Так думают 33% *демократов-западников* и 20% *социалистов-реставраторов*. В данном отношении различия довольно заметные, и сам их характер достаточно интересен и показателен. Ведь речь идет о сопоставлении с Западом **современной** России, жизнь в которой *социалисты-реставраторы* оценивают несопоставимо критичнее, чем *демократы-западники*. И, тем не менее, когда дело касается сравнения с **другими** странами, то здесь критический запал первых несколько ослабевает.

С этой особенностью *социалистов-реставраторов* мы еще столкнемся не раз. Мы увидим, что недовольство настоящим, сопровождающееся не желанием перенять и освоить «чужой» опыт (даже при понимании его преимуществ), а стремлением вернуться в «свое» прошлое, уживается с повышенной патриотической щепетильностью, не позволяющей считать свою страну хуже других независимо от того, хорошо в ней живется или плохо. И наоборот: ориентация на «чужой» опыт при отторжении «своего» прошлого оставляет в прошлом и саму эту щепетильность, эту повышенную стыдливость в признании собственной отсталости. Тут если чего и стыдятся, то самой отсталости, а не ее признания, и если чем-то гордятся, то возможностями народа преодолевать отставание, а не способностью находить в нем самобытные преимущества. Как ни странно, но знаменитый советский лозунг «Догнать и перегнать!» больше соответствует сегодня мировосприятию не сторонников, а противников советской власти и социалистического строя.

Отмеченная особенность интересующих нас групп еще рельефнее проявляется в оценках их представителями социально-психологических условий жизни в России и на Западе. Вот как это выглядит в цифрах.

Среди *демократов-западников* 69% считают, что справедливости сегодня больше на Западе, чем в России. В составе же *социалистов-реставраторов* доля тех, кто так думает, в полтора раза меньше (45%).

Среди *демократов-западников* 78% убеждены: на Западе права человека соблюдаются лучше, чем в нашей стране. В рядах *социалистов-реставраторов* их единомышленники составляют 52%, что опять-таки в полтора раза меньше.

Среди *демократов-западников* 77% полагают, что на Западе лучше, чем в России, соблюдаются законы. У *социалистов-реставраторов* эта цифра уменьшается до 54% — пропорции, как видим, воспроизводятся и в данном случае.

Наконец, среди *демократов-западников* 75% склонны считать, что в странах Запада люди больше, чем в России, уверены в будущем, в завтрашнем дне, а среди *социалистов-реставраторов* таких снова в полтора раза меньше (50%).

Разумеется, *социалисты-реставраторы*, мечтающие о возвращении к советским временам, именно потому и мечтают об этом, что прошлое кажется им если и не лучше, то, по крайней мере, не хуже западного настоящего по части справедливости, соблюдения законности и прав человека, всего, что сообщает гражданам чувство стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Но нам сейчас важно отметить повышенную неуверенность и психологическое неудобство, испытываемые многими из них, когда приходится сравнивать Запад не с той Россией, которую они потеряли, а с той, которую получили вместо нее и которая их не устраивает. Об этом в какой-то степени свидетельствуют цифры, которые мы только что привели. Однако *социалисты-реставраторы* выделяются не только своей осторожностью в оценках преимуществ Запада перед современной Россией, но и своей склонностью наделять даже эту, удручающую их Россию преимуществами перед Западом!

На ее превосходство над ним в соблюдении прав человека, обеспеченности справедливости, законности и уверенности в завтрашнем дне указывают 8-15% представителей данной группы, между тем как среди *демократов-западников* доля таких людей ни в одном из этих случаев не превышает 4%. Еще заметнее отличия между двумя группами проявляются в количестве затруднившихся ответить на вопросы, касающиеся оценки социально-психологических условий жизни в России и на Западе: в составе *социалистов-реставраторов* их доля составляет 29-44%, а среди *демократов-западников* она колеблется от 12 до 28%. И дело тут, думается, не только и не столько в том, что первые заметно скромнее, чем вторые оценивают свою осведомленность о жизни в западных странах, — в других случаях неосведомленность отнюдь не мешает им быть гораздо более определенными. Дело скорее всего в тех представлениях о патриотизме и национальной гордости, которые культивировались в прошлом и которые не позволяли считать свою страну хуже других, даже если в ней все плохо.

Однако полученные нами данные интересны не только тем, что фиксируют определенную связь между такими представлениями и симпатиями к советскому прошлому. Если учесть, что около половины (а порой и больше) *социалистов-реставраторов*, при всем их неприятии западного образа жизни, отдают все же западным странам предпочтение перед Россией, то придется признать, что и в их среде подобный патриотизм скорее остаточный, чем глубоко укорененный, что традиционное предубеждение против Запа-

да, вкупе с национальным самомнением и мессианскими амбициями, мешающими открыто и непредвзято относиться к достижениям других народов, ими постепенно изживается. Да и затруднения многих из них в ответах на наши вопросы в равной степени свидетельствует как о непреодоленности прежнего мировосприятия, так и о начавшемся его размывании, а следовательно, и преодолении. При всем желании тут уже трудно уловить желание учить Запад и служить для него примером. Тут психология не нападения и разоблачения, а самозащиты, не глобальные притязания, а отстаивание права на непохожесть (не без налета провинциального изоляционизма): живите, как хотите, но и нам не мешайте жить по-своему; у вас свои достоинства и преимущества, а у нас — свои.

Эти достоинства и преимущества видятся *социалистам-реставраторам* в предрасположенности россиян к социалистическим порядкам советского образца и в соответствующем таким порядкам типе человека, существенно отличающегося от человека западного. Определенное представление об образе этого человека мы могли получить, рассматривая восприятие российской самобытности и отношение к ней представителей двух интересующих нас групп. Однако там речь не шла о сопоставлении русского человека и западного; оно, конечно, подразумевалось, но формально в наших вопросах не фиксировалось. Что же мы имеем в том случае, когда такое прямое сопоставление респондентам предлагается осуществить?

Если коротко, то ответ звучит так: *социалисты-реставраторы* заметно чаще, чем *демократы-западники*, руководствуются известной формулой: «они» (то есть западные люди) богаче, а «мы» — лучше по своим человеческим качествам. Что касается *демократов-западников*, то они чаще склоняются к мысли о том, что, при существенной разнице в уровне благосостояния, во всем остальном западный и русский человек друг от друга мало чем отличаются. В цифрах картина выглядит следующим образом.

Почти половина *социалистов-реставраторов* (47%) считает, что люди в России более духовны, чем на Западе, и в полтора раза меньше (30%) их представителей полагают, что духовность от места проживания человека не зависит. Среди *демократов-западников* настроения совсем другие: первой точки зрения придерживаются лишь 28% их состава, а второй — 60%, то есть ровно в два раза больше, чем среди их политических и идеологических оппонентов.

Эти различия несколько сглаживаются (но не исчезают!), когда речь заходит о душевности и всем, что с ней так или иначе связано. Так, 52% *социалистов-реставраторов* полагают, что люди в России душевнее, чем на Западе, и 38% считают, что душевность человека не зависит от того, в какой стране он живет (среди *демократов-западников* соответственно 39 и 53%). Примерно те

же пропорции обнаруживаются в представлениях о таком качестве, как стремление к общению и дружбе: 51% *социалистов-реставраторов* отдает в данном отношении преимущество россиянам и 33% склоняются к тому, что такая потребность от страны проживания не зависит (среди *демократов-западников* 37 и 49%).

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что людям, находящимся на противоположных политико-идеологических полюсах современного российского общества, одинаково чуждо мнение о духовном (или душевном) лидерстве Запада: его признают не больше 8% опрошенных, и в данном отношении *демократы-западники* практически ничем не отличаются от *социалистов-реставраторов*. Различия обнаруживаются в другом — в представлениях о **лидерстве России**. При этом в оценках духовности эти различия сказываются больше, чем в оценке душевности, присущего россиянам эмоционального взаимоприятия друг к другу. А это, в свою очередь, свидетельствует о начавшемся — по крайней мере, у *демократов-западников* — осознании несводимости друг к другу духовности к душевности. Вместе с тем бросается в глаза, что ориентация на Запад сопровождается ослаблением веры не только в духовное лидерство России, но и в ее превосходство над рационалистическим Западом в том, что касается эмоционально-душевного измерения человеческого существования. Можно по-разному оценивать этот факт. Наша задача — его зафиксировать.

Мы не знаем, чем руководствуются *социалисты-реставраторы*, настаивающие на духовном преимуществе россиян перед жителями Германии, Франции или Америки, — уже упоминавшимся патристическим желанием видеть свой народ на пьедестале и поддерживать тем самым чувство национальной гордости или стремлением морально и психологически компенсировать недовольство для себя современных западных жизненных стандартов и готовность удовлетвориться уровнем жизни, достигнутым в брежневскую эпоху. Возможно, тут сказывается то и другое. Однако в любом случае хотелось бы обратить внимание на две вещи.

Во-первых, и среди *социалистов-реставраторов* доля людей, склонных наделять россиян особыми духовными качествами, возвышающими их над жителями западных стран, не дотягивает даже до половины, а почти треть представителей данной группы считает, что духовность человека не зависит от места его проживания. Это лишний раз говорит о том, что установка на реставрацию советских порядков может сочетаться сегодня, причем вполне осознанно, с отказом от советского мессианства, желание жить **иначе**, чем другие, и сохранять свою непохожесть на них — с отказом от декларирования своего превосходства, в том числе и духовного.

Во вторых, даже при свойственных *социалистам-реставраторам* пониженных материальных притязаниях и повышенной склонности наделять своих сограждан духовным превосходством, последнее вовсе не равнозначно приписыванию своему народу романтически-возвышенного безразличия к материальной стороне жизни. Выразительная деталь: *социалисты-реставраторы* почти не отличаются от *демократов-западников* своими ответами на вопрос о том, где люди придают большее значение материальному благополучию, — в России или на Западе. Около трети тех и других ответили, что на Западе, а 47% первых и 57% вторых — что не видят в этом отношении между русским и западным человеком никакой разницы.

Но тогда возникают естественные вопросы: превосходство в духовности — это превосходство в чем? Каким культурным смыслом оно наполняется? Какие качества личности россиянина возвышают его над западными людьми? Дать на эти вопросы исчерпывающие ответы данные нашего опроса не позволяют. Определенно мы можем утверждать лишь одно: при переводе разговора в конкретную плоскость преимущества русского человека перед западным начинают выглядеть в глазах *социалистов-реставраторов* гораздо менее очевидными. Их отличия от *демократов-западников* сохраняются и в этом случае, но порядок цифр, фиксирующих различия, существенно меняются.

Только 22% *социалистов-реставраторов* считают, что в России выше, чем на Западе, культура отношений между людьми, степень уважительности, проявляемой ими друг к другу. Между тем 31% их представителей отдают в этом отношении преимущество Западу, а 25% не усматривают между Россией и западными странами принципиальных различий. Ответы *демократов-западников*, разумеется, существенно иные: 56% их представителей полагают, что культура отношений выше на Западе, и всего 8% — что в России. Но нам сейчас важно подчеркнуть: даже в рядах тех, кто мечтает о возврате к советскому социализму, воспаряющий над реальностью безоглядный социалистический патриотизм вытесняется трезвым реализмом, не позволяющим слепо верить в то, что при социализме человек человеку друг, товарищ и брат, а при капитализме — конкурент и недруг.

В чем-то сходная, но в чем-то и иная картина обнаруживается в представлениях о широте интеллектуальных запросов русского и западного человека. На вопрос, где люди больше интересуются историей и культурой своей страны, 26% *социалистов-реставраторов* ответили, что в России, 10% отдали предпочтение Западу, а 40% выразили свою позицию словом «одинаково». Соответствующие данные по *демократам-западникам* — 14; 25 и 50%.

Вся эта информация представляется нам чрезвычайно интересной. Мы видим, что образ России как самой читающей и образованной страны в массовом сознании размывается и в значительной степени уже разрушен. Мы видим также, что наибольшую устойчивость он сохраняет у *социалистов-реставраторов*, то есть среди людей, выделяющихся не повышенной, а наоборот, пониженной образованностью, не повышенными, а пониженными интеллектуально-культурными запросами. Это проливает дополнительный свет на природу самого образа: чем ниже чувствует себя человек, чем неразвитее его индивидуальность, чем меньше выделился он, как личность, из общности, к которой принадлежит (страны, государства, народа), тем важнее для него максимально возвысить эту общность, наделить ее особыми достоинствами и преимуществами перед другими, а тем самым наделить ими и самого себя. Но и здесь, как показывают наши данные, идеализм — не в смысле приверженности каким-то идеалам, а в смысле идеализации реальности — уступает место реализму. Если даже *социалисты-реставраторы*, при всем их неприятии Запада, чаще всего не усматривают между ним и Россией никакой разницы в том, что касается широты культурных запросов людей, то это выглядит весьма симптоматично.

Симптоматично и то, что отказ от идеализации России не сопровождается идеализацией Запада, который тоже не может похвалиться широтой и содержательностью гуманитарных запросов рядового человека и давно уже занят беспощадной самокритикой своей культуры, обличением бездуховности и всевластия денег. И хотя *демократы-западники* демонстрируют повышенную предрасположенность к такой идеализации, среди них это тоже свойственно явному меньшинству. Гораздо важнее то, что они, сравнивая культурные запросы русского и западного человека, еще чаще, чем *социалисты-реставраторы*, предпочитают пользоваться словом «одинаково».

У нас нет никаких оснований утверждать, что те и другие имеют в виду **одинаково высокий** уровень этих запросов. Скорее наоборот: речь идет о реалистическом признании того, что есть, а есть то, что и на Западе, и в России рядовой человек ведет, как правило, жизнь обывателя, ограниченного горизонтом своей профессии, заботами о заработке и его увеличении и потреблением массовой культуры. К сожалению, и в данном случае народная экспертиза не дает никаких дополнительных аргументов в пользу той точки зрения, согласно которой наши сограждане ближе к идеалу «постэкономического» человека по сравнению с людьми, живущими на Западе.

Представления наших респондентов о культурном кругозоре тех и других почти не отличаются от представлений об укорененности

религиозных ценностей, о том, где им придается большее значение. Так, среди *социалистов-реставраторов* 25% считают, что в России, 15% — что на Западе, а 40% и в данном случае сохраняют приверженность слову «одинаково». *Ответы демократов-западников*: 13% — в России, 31% — в странах Запада, 43% — одинаково.

Мы снова видим, что преимущество России отдается среди первых чаще, чем среди вторых, а преимущество Западу — среди вторых чаще, чем среди первых. Однако преимущество, кому бы оно ни отдавалось, фиксируется опять-таки меньшинством, между тем как наиболее распространенный ответ в обеих группах сводится к тому, что в данном отношении между Россией и Западом никаких различий нет. Что, однако, стоит за этим ответом — представление об одинаково глубокой или, наоборот, об одинаково слабой укорененности религиозных ценностей? Если учесть, что религиозность среди основ российской духовности в каждой из двух групп назвали в два с лишним раза меньше людей по сравнению с численностью тех, кто выбрал такой ответ, то напрашивается вывод: многие приверженцы слова «одинаково» не связывают с религиозностью и духовностью западную. А это, в свою очередь, означает, что наши респонденты, по крайней мере, значительная их часть, вполне отдает себе отчет в том кризисе религиозных ценностей, который переживает **весь** христианский мир.

Так как же все-таки понимать столь заметное у *социалистов-реставраторов* желание наделять русского человека духовным превосходством над человеком западным? Приведенные данные не очень-то приблизили нас к ответу на этот вопрос. Единственное, что из них следует, — это то, что духовность воспринимается многими как некий словесный символ, как знак чего-то ценного и высшего, имеющего отношение не столько к индивидуальности, сколько к большой или малой общности, в которую человек включен. И важны при этом не столько собственные качества, сколько принадлежность к обладающему этим качеству народу (коллективу, стране, государству), который во всем «самый-самый» (самый образованный и культурный, самый христианский и тому подобное). Однако это все же не ответ на интересующий нас вопрос. *Социалисты-реставраторы* выделяются тем, что чаще других наделяют некоего обобщенного россиянина более широким, чем у западных людей, гуманитарным кругозором, большей приверженностью религиозным ценностям и обходительностью в человеческих взаимоотношениях. Но ведь превосходством в духовности они наделяют его намного чаще!

Как ни крути, а логика анализа снова и снова возвращает нас к той нерасчлененности, слитности в сознании духовности и душевности (склонности к дружбе, общению, откровенным разговорам

по душам, к эмоциональным контактам в широком смысле слова), слитности, о которой мы в своем месте подробно говорили и которая, похоже, в наибольшей степени свойственна именно сознанию *социалистов-реставраторов*. Учитывая, однако, их желание вернуть советские прошлое, можно предположить, что духовность для них — это не просто душевность, а некий синтез душевности и социалистической *идейности*, а идейность, в свою очередь, нечто такое, что **упорядочивает эмоциональность**, замыкая ее на государство или трудовой коллектив и направляя ее в русло какого-то «общего дела», смысл которого вполне поддается рациональному объяснению.

Свое предположение мы можем проверить, рассмотрев отношение *социалистов-реставраторов* и *демократов-западников* к российскому и западному работникам, их качествам и, что в данном случае особенно важно, их трудовой мотивации. Разумеется, помимо такой проверки эта тема представляет и самостоятельный интерес, поэтому мы рассмотрим ее более или менее детально.

Еще раз о русском и западном работнике

Сначала представим весь материал по данному кругу вопросов, которым мы располагаем, сведя его в одну общую таблицу.

Таблица 8. Представления «демократов-западников» и «социалистов-реставраторов» о качествах российского и западного работников, их трудовой мотивации и некоторых других психологических особенностях (данные в % от численности «демократов-западников» и «социалистов-реставраторов»)

Качества работника	Российский работник		Западный работник	
	Демократы-западники	Социалисты-реставраторы	Демократы-западники	Социалисты-реставраторы
Трудолюбив	45	68	74	66
Ленив	33	15	4	2
Заинтересован в конечном результате своего труда	44	62	73	56
Безразличен к конечному результату своего труда	41	23	10	12
Работает на совесть	38	65	80	70
Недобросовестен	41	22	1	3
Аккуратен, старателен в исполнении порученного дела	38	56	84	75

Неисполнителен, небрежен	42	27	0	1
Дисциплинирован	30	49	83	74
Недисциплинирован	47	32	1	2
Инициативен	18	34	51	38
Выполняет только ту работу, которую ему поручают	67	52	28	33
	Российский работник		Западный работник	
Трудовая мотивация работника	Демократы-западники	Социалисты-реставраторы	Демократы-западники	Социалисты-реставраторы
Работает прежде всего ради денег	70	55	71	83
Работает из интереса к самой работе	18	35	12	4
Проявляет свои лучшие качества в критических обстоятельствах	71	51	15	13
Лучше проявляет свои качества в обычной обстановке	21	33	62	50
Дружеские отношения в трудовом коллективе важнее самой работы	63	69	8	10
На работе важнее всего дело	25	21	76	65
Ему важно, чтобы его работа служила общему делу	38	68	13	5
Для него главное в работе - личный интерес	47	21	70	72
Лучше проявляет себя в творческой работе	45	54	57	44
Лучше всего приспособлен к монотонной, рутинной работе	38	27	18	22
Хорошо работает лишь пока он беден	33	29	9	12
Работает тем лучше и упорнее, чем выше его достаток	52	44	70	58

Прежде всего, отметим удивительную близость обеих групп в оценках таких качеств западного работника, как аккуратность, старательность, стремление работать на совесть, дисциплинированность и трудолюбие. Правда, *социалисты-реставраторы* и в данном случае несколько выделяются своей повышенной

патриотической настороженностью (как бы не перехвалить чужое и не принизить тем самым свое), но — очень незначительно: эти качества считают присущими западному работнику 66-75% их представителей, а среди *демократов-западников* — 74-84%.

Несколько заметнее отличия между двумя группами проявляются в оценках инициативности и заинтересованности в конечном результате труда: первую считают свойственной западному работнику 38% *социалистов-реставраторов* (в составе *демократов-западников* таких 51%), вторую — соответственно 56 и 73%. Эти расхождения, скорее всего, свидетельствуют о том, что люди, стоящие на полярных политико-идеологических позициях, руководствуются **разными** представлениями об инициативности и заинтересованности в результатах труда.

Социалисты-реставраторы, живущие воспоминаниями о советском опыте, слово «инициативность» могут относить в первую очередь к рядовому наемному труженнику, которому надлежит на своем рабочем месте проявлять творчество, подавать рационализаторские предложения и заботиться о перевыполнении норм выработки. А отторгающие советский опыт *демократы-западники* могут понимать это слово как синоним капиталистической предприимчивости, без которой немислимо западное предпринимательство, но которая совсем не нужна рядовым работникам. Иными словами, *социалисты-реставраторы* чаще склонны, наверное, искать на Западе **социалистическую** предприимчивость (понятно, что найти ее там нелегко), а *демократы-западники* — инициативность рыночно-капиталистическую.

Примерно то же самое можно сказать об оценках заинтересованности западного работника в конечных результатах его труда. *Демократы-западники*, очевидно, имеют в виду заинтересованность экономическую, при которой положение и благополучие человека зависят от успехов его фирмы и конкурентоспособности ее продукции на рынке. Что касается *социалистов-реставраторов*, то они, возможно, вкладывают в это слово еще и унаследованный от советских времен морально-идеологический смысл, что не могло не сказаться на их восприятии западного работника.

Мы не придавали бы этим различиям между двумя группами очень уж большого значения (не так уж они велики), если бы в них косвенно не проявлялись впечатляющие расхождения в оценках работника **российского**. Из приведенной таблицы видно, что среди *социалистов-реставраторов* в полтора-два раза выше, чем среди *демократов-западников*, процент людей, склонных надеяться его теми или иными достоинствами. Если у вторых наблюдается колоссальный, доходящий до 50 с лишним процентов, разрыв в оценках российского и западного работников, то у первых

он проявляется (да и то несравненно слабее) только в представлениях о дисциплинированности и аккуратности. Более того, в двух случаях отечественный труженик оценивается даже выше, чем западный!

Это не относится, правда, к инициативности: при всем том, что доля *социалистов-реставраторов*, выделивших данное качество в российском работнике, почти вдвое больше, чем среди *демократов-западников* (34 и 18%), в массе своей даже те, кто мечтает о возврате к позднесоветским временам, не забыли. Очевидно, что и тогда призывы к инициативности чаще всего призывами и оставались и на поведении людей никак не сказывались, что рационализаторы, изобретатели и инициаторы починов составляли незначительное меньшинство населения. А вот заинтересованностью в конечном результате труда *социалисты-реставраторы* наделяют русского человека чаще, чем западного (соответственно 62 и 56%).

Эти данные кажутся нам тем более важными и интересными, что вторым качеством, которое в глазах представителей данной группы не только сближает, но и несколько возвышает российского работника над западным, оказалось трудолюбие (68% назвали его присущим россиянам и 66% — людям, живущим на Западе). Это важно и интересно, потому что сквозь эти цифры отчетливо проступают главные составляющие того образа труженика, который культивировался при советской власти и который прочно удерживается в памяти стойких ее приверженцев.

Выше мы говорили о том, что трудолюбие, до сих пор ценимое россиянами в самих себе превышает всего, предполагает особое эмоциональное отношение к процессу труда, уходящее своими истоками в те времена, когда результаты труда и средства их достижения воспроизводились относительно неизменными из года в год и когда человек понимал, что от этих результатов непосредственно зависит его и его семьи жизнь. Советская власть пыталась опереться на русское трудолюбие, приспособить его к индустриальному производству, отрывающему и отчуждающему результат труда от человека и его потребностей, пыталась построить на его, трудолюбия, основе здание «новой социалистической дисциплины». И при всем том, что в целом попытка закончилась неудачно и долговременных исторических плодов не принесла, она все же в сознании многих людей находила в свое время сочувственный отклик и даже сегодня может казаться вполне соответствующей особенностям российского работника, делающим его конкурентоспособным по отношению к работнику западному.

Это не относится, правда, к трудовой дисциплине, старатель-

ности и аккуратности (здесь преимущество заметно чаще отдаются все же западным людям), хотя и в данном отношении *социалисты-реставраторы* оценивают россиян намного выше, чем *демократы-западники*. Но почему же все-таки по части дисциплинированности, старательности и аккуратности отечественный работник чаще выглядит уступающим немецкому или американскому, а по части трудолюбия и заинтересованности в конечном результате труда равноценным и даже имеющим преимущество?

Мы склонны усматривать в этом подтверждение нашего предположения о том, что сторонники реставрации советского строя находят и ценят в русском человеке прежде всего не рациональное, а эмоциональное отношение к процессу труда и его результатам. Но такая эмоциональность нуждается в упорядочивающей и целеполагающей воле, восполняющей дефицит рациональности, и *социалисты-реставраторы* именно потому, похоже, и хотят вернуть социалистический строй, что он в их глазах олицетворяет эту волю, дающую вместе с тем возможность в полной мере проявиться присущей россиянам эмоциональной спонтанности.

Если наша логика верна, то она должна найти подтверждение в представлениях о трудовой мотивации российского и западного работников. И такое подтверждение в приведенных выше данных мы без особых усилий находим. Большинство *социалистов-реставраторов* (68%) считает: русскому человеку важно, чтобы его работа служила общему делу (в составе *демократов-западников* 38%, то есть почти в два раза меньше). Что касается западного работника, то он выглядит этой особенностью лишенным. Но ведь служение «общему делу» — по крайней мере, в советской интерпретации — как раз и предполагает целенаправленную и упорядоченную концентрацию эмоциональных ресурсов!

Тут, однако, возникают и неясности. Если человеку важно, чтобы его труд вливался в «общее дело», если только оно способно его стимулировать и воодушевлять, то отсюда, вроде бы, следует, что на работе он должен думать, прежде всего, о **деле**, а не о том, что ему сопутствует. Между тем *социалисты-реставраторы* в массе своей (69% их состава, что даже несколько больше, чем среди *демократов-западников*) полагают, что для россиян дружеские отношения в трудовом коллективе важнее самой работы! Здесь существенны не столько различия между двумя группами (они незначительны), сколько их близость. Зная о том, что *социалисты-реставраторы* во всех отношениях оценивают российского работника намного выше, чем *демократы-западники*, можно предположить: в глазах первых его склонность отдавать предпочтение дружеским отношениям выглядят достоинством, свидетель-

ствующим о благотворной предрасположенности к эмоциональным контактам, а в глазах вторых — недостатком, свидетельствующим о дефиците рациональности. Вопрос, однако, в том, как совместить (и можно ли совместить) служение «общему делу» с установкой на то, что на работе есть вещи важнее, чем дело.

В конечном счете, это вопрос о том, совместима ли идеология трудовых штурмов (борьбы, сражений и битв во имя «общего дела») с неэкстремальной трудовой повседневностью, с негероической обыденностью. Сознание «социалистов-реставраторов» тем-то и интересно, что они хотят соединить одно с другим, но это у них получается не лучше, чем получалось в реальной жизни в брежневский период советской истории, на который они прежде всего и ориентируются.

В их памяти лучше, чем в памяти *демократов-западников*, сохраняются представления об идеальных советских побуждениях к труду (служение «общему делу», творчество на каждом рабочем месте, интерес прежде всего к работе, а не к деньгам). Однако и у них эти представления накладываются на образ *реальной* позднесоветской повседневности, отмеченной *разложением* всей коммунистической системы трудовой мотивации.

Их желание вернуть ту повседневность и противопоставить ее западному образу жизни заставляют их возвышать побуждения отечественного работника и заземлять побуждения работника западного. Поэтому, очевидно, они ни в чем другом так не близки к единодушию, как в убежденности, что люди на Западе работают, прежде всего, ради денег, — так думают 83% *социалистов-реставраторов*. Русский же работник многим из них видится иным, а именно — подвижимым в первую очередь интересом к содержанию своей работы, а не к заработку. Но таким он видится все же меньшинству (35%) их представителей, между тем как 55% полагают, что и в России люди работают в первую очередь ради денег.

Вот и получается: с одной стороны — во имя «общего дела», а с другой — во имя экономического интереса. Но тогда, может быть, и нет никаких двух сторон, вернее — это две стороны одного и того же? Может быть, само служение «общему делу», равно как и коллективизм, справедливость, преданность государству, духовность, понимаемая как душевность (в том числе в отношениях на работе), воспринимаются не как нечто самоценное, а как наиболее приемлемый (и самобытный!) способ удовлетворения вполне прозаических материальных потребностей?

В этом, похоже, и заключается основной смысл попыток совместить советскую идеологическую мотивацию эмоционального трудового порыва, приспособленную для штурмов и сражений, с будничными условиями и заботами людей об обустройстве их частной

жизни. В реальной действительности, повторим, это не получилось. Поэтому и не получится возвращения к брежневскому «развитому социализму». И самое лучшее тому доказательство — несовместимость одного с другим в сознании людей, которые о таком возвращении мечтают.

Социалисты-реставраторы, столь высоко оценивающие российского работника и придающие столь большое значение идеальности его побуждений, очень хотели бы видеть его приспособленным к работе не в чрезвычайных, а в обычных обстоятельствах. Но таким его видят лишь 33% их представителей — больше, чем среди демократов-западников (21%), но все же не большинство; большинство же (51%) считают, что лучшие свои качества он проявляет в условиях критических, экстремальных. Но если такие условия самим *социалистам-реставраторам* не по душе, то это значит, что идеально-возвышенный образ российского труженика, сохраняющийся в их сознании, не очень-то согласуется с тем образом реальности, в которой они хотели бы жить. А это, в свою очередь, равносильно признанию, что тип такого работника принадлежит более раннему прошлому, чем то, которое *социалисты-реставраторы* желали бы возродить.

Таким образом, идеал «постэкономического» человека, выдвигаемый идеологами почвеннического направления, может найти сегодня отклик прежде всего в сознании той сравнительно небольшой части российского общества, которая мечтает не о постиндустриальной цивилизации, а о возврате к индустриальному обществу советского образца. Однако и в ней идеал этот будет укоренить не просто, так как и в ее представлениях о реальном российском работнике почвенническая составляющая накладывается на противостоящую ей экономическую, причем первая уже в значительной степени вытеснена последней.

Выводы

1

Наше исследование показало, что в советский и постсоветский период в народном сознании произошел коренной сдвиг, проявившийся в отторжении большинством россиян традиционных представлений о самобытности России, противопоставляющих ее западной цивилизации. Для такого утверждения у нас есть тем более веские основания, что оно основано на анализе умонастроений, прежде всего тех групп российского общества, которые декларируют приверженность именно почвенническим ценностям. Современное массовое («низовое») отечественное почвенничество, в противовес элитарному, явно тяготеет к западничеству.

Этот великий отказ, это стремление к преодолению присущих россиянам особенностей (при одновременном признании непреодоленности некоторых из них) наиболее отчетливо проявляются по двум основным направлениям. С одной стороны, отторгаются традиционные для страны взаимоотношения человека и государства. С другой — обнаруживается массовое нежелание мириться во имя каких бы то ни было высших целей и идеалов с низкими жизненными стандартами и усматривать в таком примирении некое духовно-нравственное преимущество перед другими, прежде всего западными, народами.

Советская власть, имитируя военную угрозу извне и милитаризируя повседневную мирную жизнь (внедрение в массовое сознание образа «осажденной крепости» и превращение тем самым этого сознания в оборонное), как никакая другая, сумела мобилизовать ресурсы российской самобытности для прорыва в индустриальную цивилизацию. Но она же выкачала эти ресурсы до дна, ее деятельность привела к их полному исчерпанию.

Можно сказать, что у советской власти не было более могущественного стратегического противника, чем сама советская власть. Чем больше соответствовала она собственной природе, тем больше подтачивала устои своего существования; чем весомее были ее победы, достигавшиеся благодаря самоограничению и жертвенности миллионов людей, тем строже оказывался счет, предъявляемый последними к власти, а заодно и ко всей российской истории, тем оправданнее казались им их надежды на то, что победы обернутся улучшением их повседневной жизни, сделают ее соразмерной масштабам этих побед. Но ответить на такие надежды со-

ветскому режиму было нечем; перед ними ему пришлось капитулировать.

Его исторический век оказался недолгим, потому что декларировавшиеся им идеи и принципы, соприкасаясь с жизнью, обнаруживали свою изначальную двусмысленность.

Они претендовали на переустройство всего мира на новых началах, в котором (переустройстве) Россия призвана была сыграть роль первопроходца, но их практическое воплощение потребовало самоизоляции от подлежащего переустройству мира и реанимации тех самых особенностей прошлого, которым коммунистические идеи и принципы противостояли.

Они противостояли прошлому диктату государства над человеком, были нацелены даже на ликвидацию («отмирание») государства, но ради этой будущей ликвидации в настоящем предлагалось с воодушевлением принимать и поддерживать тотальный контроль со стороны власти за всеми проявлениями человеческой жизни.

Они предполагали верховенство коллективного начала над индивидуальным, однако их реализация сопровождалась созданием иерархии личных статусов, серийным производством артистических, научных, спортивных и прочих «звезд», призванных служить образцами для массового подражания и укреплять систему, но одновременно несущих и угрозу ей, закладывая внутрь нее мины замедленного действия, которые, в конце концов, начали взрываться (Сахаров, Солженицын и др.).

Наконец, эти идеи и принципы, противостоящие жизненному западно-капиталистическому укладу с его мещанством и культом потребления («меркантилизмом и вещизмом»), претендовали вместе с тем на конкурентоспособность и даже на превосходство над идеями и принципами западной цивилизации не только в духовно-нравственном, но и в материально-экономическом измерении, во всем, что касается производства и — соответственно — потребления.

Советский режим держался на народном самоограничении и народных ожиданиях, которые власти вынуждены были поддерживать, чтобы самоограничение не лишалось смысла. Но по мере того, как ожидания эти все большим числом советских людей начинали восприниматься как тщетные, ресурсы режима иссякали, а его попытки следовать за ожиданиями и удовлетворять их, конструируя социалистический аналог общества массового потребления, вели к его разложению. Это, в свою очередь, обернулось глубочайшим кризисом доверия к идеологии, апеллирующей к мессианско-первопроходческой роли России (Советского Союза) в мире — она изжита, как показало наше исследование, даже теми, кто мечтает сегодня о возврате страны к социалистическому строю.

Естественно, что такое изживание не могло не сказаться и на отношении людей к тем или иным конкретным особенностям своей страны и ее народа, в которых представители почвеннических течений отечественной мысли усматривали и усматривают самобытные преимущества России перед Западом. Народная экспертиза их представлений о народе показала: то, что идеологи почвенничества считают в народе самобытно-ценным, самим народом чаще всего таковым не воспринимается, а если воспринимается, то далеко не всегда наполняется почвенническим содержанием.

2

Полученные нами результаты, не опровергая в принципе данные некоторых социологических служб о довольно широком распространении в современном российском обществе коллективистских ценностей, заставляют вместе с тем внести существенные коррективы в понимание и оценку такого рода данных. Вызывает сомнение даже то, что в данном случае речь идет о ценностях в строгом смысле этого слова. И дело не только в том, что люди, считающие коллективизм нашим самобытным достоянием, чаще всего или не могут расшифровать его смысл, или усматривают этот смысл в совместной работе на предприятиях и в учреждениях, в чем при всем желании уловить нечто оригинальное и самобытное очень не просто. Дело еще и в том, что постсоветские *коллективисты* политически и идеологически расколоты. В глазах части из них, причем незначительной, коллективизм ассоциируется с реставрацией социалистического строя, гарантирующего уровень благосостояния брежневских времен. В глазах других — и их большинство — символизирует единство национально-государственного «мы» в движении к западному капитализму и западным стандартам потребления, причем это единое «мы» лишено не только коммунистической окраски, но, как правило, и какого бы то ни было этнического оттенка.

В этом образе «общего строя», который никого из своих рядов не выталкивает и сглаживает неравенство индивидуальных возможностей в шестии по западному маршруту, можно, конечно, обнаружить и следы прежних представлений о коллективном движении в прямо противоположном, социалистическом направлении. Но важнее всего то, что само направление отвергается: воспоминания о советско-социалистических способах достижения цели если и имеют место, то от самой этой цели они отделились и с нею никак не связаны. Отсюда следует, что ценность коллективизма,

воспринимаемая сегодня многими россиянами как нечто столь же самобытное, сколь и неопределенное, может наполняться отнюдь не самобытным и вполне определенным содержанием в духе идеалов солидарности, исповедуемых западной социал-демократией и не чуждых таким западным либералам, как Джордж Сорос, известно не только своим огромным состоянием, но и критикой западного индивидуализма, который он пытается преодолеть не только теоретически, но и своей практической благотворительной деятельностью.

3

Если с коллективизмом связывает свои надежды довольно значительная часть россиян (38% опрошенных), то с уравнительной справедливостью — сравнительно немногие (21%). Это значит, что далеко не все приверженцы коллективизма склонны толковать его в том казарменном смысле, когда результаты общенародного (коллективного) труда собираются в один котел, содержимое которого делится затем на равные порции в соответствии с численностью народонаселения. Однако и постсоветские *уравнители*, считающие ценным самобытным достоянием россиян их мечту об обществе без существенных различий в доходах, как правило, вовсе не имеют в виду солдатскую или лагерную уравниловку. В массе своей они вообще не верят в то, что может существовать общество, где нет ни богатых, ни бедных, а достаток людей примерно одинаков.

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что идеал уравнительной справедливости даже у тех, кто ему привержен, лишен прежней утопической окраски и никак не связан с упованиями на очередной «черный передел» собственности. Такие упования Россия, судя по всему, оставила в прошлом; *уравнители* если чем и выделяются, то своей обостренной реакцией на нынешние чрезмерные разрывы в доходах при слишком низком их уровне у большинства населения. Такое неравенство выглядит в их глазах несправедливым, но саму справедливость в подавляющем большинстве своем они понимают не в духе механического уравнивания всего и вся, а как соответствие достатка способностям и деловым качествам (предполагается, очевидно, что сегодня этого нет), к которому многие из них добавляют социальную политику, заставляющую богатых делиться с бедными (предполагается, что сейчас не делятся). Но в таком восприятии справедливости нет не только ничего утопического, но и специфически самобытного; оно

— по крайней мере в словесном выражении — вполне согласуется с западными (либеральными или социал-демократическими) представлениями об этой ценности.

Вместе с тем в сознании постсоветского человека социал-демократическая и даже либеральная ее версия могут причудливо переплетаться с воспоминаниями о повседневности брежневских времен, которая выглядит более справедливой, чем повседневность нынешняя, и с точки зрения зависимости достатка от способностей и деловых качеств, и с точки зрения социальной защищенности граждан. Говоря иначе, либеральная и социал-демократическая фразеология, вполне соответствующая современному западному опыту, может наполняться содержанием, почерпнутым из опыта проживания в «застойную» эпоху. Постсоветские *уравнители* именно тем и интересны, что в их сознании эта тенденция проявляется наиболее ярко и отчетливо.

В свою очередь, само наличие такой тенденции свидетельствует о том, как важно, апеллируя к чувству справедливости, расшифровывать ее смысл, разъяснять, что конкретно под ней подразумевается. В нерасшифрованном же виде она не может стать сегодня привлекательным политическим лозунгом и влиять на политическое поведение людей по той простой причине, что ее используют самые разные партии и лидеры, в результате чего она становится разменной монетой в политической игре с соответствующим к ней отношением.

4

Размывание представлений о самобытном российском коллективизме (даже при благосклонном к нему отношении) и отторжение утопического идеала уравнительной справедливости непосредственно связано с неприятием государственной принудительности и укоренением в массовом сознании ценности индивидуальных прав и свобод, обеспечивающих независимость человека от государства. Наше исследование показало: в российском обществе существует массовый запрос на наведение порядка, но — не за счет политической свободы. Формула «порядок важнее свободы» россиянами не принимается и как ценная самобытная особенность России и ее народа не воспринимается; приверженцы этой формулы (*авторитаристы*) составляют незначительное меньшинство населения. Однако даже они в подавляющем большинстве своем жертвовать ради торжества порядка и стабильности правами и свободами человека не хотели бы, а хоте-

ли бы совместить политическую свободу с защищенностью **социальных** прав, негарантированность которых в первую очередь и вызывает у них ощущение беспорядка.

Анализ представлений этой небольшой группы (7% опрошенных) показал: в современной России существует пусть слабая, но все же вполне определенная авторитарная тенденция весьма специфической окраски. Речь идет не об авторитаризме классического образца (ограничение или свертывание политических свобод при сохранении хозяйственно-экономических), а о политическом режиме, при котором гарантированность социальных прав обеспечивается благодаря свертыванию или ограничению свободы **экономической** деятельности. Образ такого режима заимствован из советского прошлого, но в него привносятся некоторые новые элементы. Постсоветские *авторитаристы* выделяются повышенной озабоченностью державной мощью России при повышенном интересе как к коммунистической, так и к национал-социалистической версии державной государственности и отчетливо выраженной ориентацией на корпоративную защиту социально-экономических прав (запрос на сильные профсоюзы).

Таким образом, даже очень слабо проявленная в современном российском обществе склонность отдавать предпочтение идее порядка перед идеей свободы не отличается идеологической определенностью и уживается с нежеланием жертвовать во имя порядка какими-либо правами и свободами. Исключение составляет свобода экономическая, и мы, несмотря на малочисленность *авторитаристов*, считаем нужным это зафиксировать. Потому что при всем том, что подавляющее большинство россиян к временам прежней несвободы возвращаться не хочет, у нас нет оснований утверждать, что в случае, если им придется выбирать между свободой и элементарным выживанием, они отдадут предпочтение свободе. Это тем более важно подчеркнуть, что само представление об этой ценности у большинства россиян еще не стало либерально-правовым. Такая тенденция безусловно существует, полученные нами данные не оставляют на сей счет ни малейших сомнений, но она пока не доминирует.

Поэтому единственное, о чем можно говорить вполне определенно, — это о том, что сегодня россияне не ощущают себя стоящими перед жестким выбором между свободой и выживанием. Они хотят улучшить свою повседневную жизнь, преодолевать выпавшие на их долю трудности и невзгоды, расширяя свои права и свободы во всем их объеме, совмещая их с порядком и благосостоянием, а не отказываясь от них ради порядка и благосостояния.

Та же самая особенность массового сознания проявляется и в восприятии и оценке россиянами самобытно-российских взаимоотношений человека и государства. С одной стороны, довольно значительная (31%) часть российского общества положительно реагирует на почвенническую версию этих взаимоотношений, считая важным и ценным качеством россиян их преданность государству, понимаемую как готовность подчинять его интересам интересы личные. Но уже одно то, что таких людей в четыре с лишним раза больше, чем *авторитаристов*, ставящих порядок выше политической свободы, свидетельствует: самоограничение во имя государства чаще всего не воспринимается как ограничение, а тем более свертывание свободы.

Полученные нами данные позволяют утверждать: диктат государства над обществом и человеком россияне сегодня отторгают. Это отторжение связано с массовой переориентацией на частную жизнь и частное благополучие, которое сопровождается неоднозначными — как обнадеживающими, так и тревожными — последствиями. С одной стороны, осознание себя человеком в роли частного лица, от государства не зависимого, — исходная точка формирования свободного гражданина. С другой стороны, это ведет к размыванию ценности государства и государственности как таковой, которое у одних проявляется в стремлении приватизировать государство, сделать его служанкой частных и групповых интересов, а у других — в анархическом нежелании подчиняться ему, что создает угрозу хаоса в общественной жизни. Наше исследование показало, что первая — гражданская — тенденция сегодня относительно слаба. Однако не подтвердило оно и предположений тех, кто вторую тенденцию уже сейчас считает возоблававшей.

Большинство россиян, как свидетельствуют полученные данные, вообще не склонны искать самобытность России в характере взаимоотношений человека и государства. Быть может, это связано с тем, что предложенная им для оценки формула таких взаимоотношений взята из советского политического словаря и воспринимается как формула добровольного подчинения государственному диктату. Однако даже она вызвала отторжение у очень незначительной (всего 6% опрошенных) части населения, что уже само по себе ставит под сомнение утверждение о широком распространении в российском обществе антигосударственных настроений, о его предрасположенности к анархическому восприятию свободы. Скорее дело обстоит наоборот: оно ищет, но пока не может найти такую формулу взаимоотношений с госу-

дарством, которая исключала бы как тотальный диктат с его стороны, так и анархическую вседозволенность. Что касается основных направлений поиска, то они отчетливо просматриваются в представлениях людей (условно мы назвали их *государственниками*), которые поддержали почвенническую версию этих взаимоотношений.

Часть из них хотела бы вернуть государственность брежневской эпохи, но такие люди среди *государственников* составляют явное меньшинство. Гораздо чаще памятные по советским временам слова о преданности государству и самоограничении ради него наполняются совсем другим, отнюдь не советским, смыслом и понимаются как преданность (с соответствующими ограничениями) государству демократическому и правовому, то есть государству западного образца. Это значит, что в самобытную словесную оболочку сегодня можно облекать политическое содержание, которое самобытно-российскую традицию если и не отрицает полностью, то подвергает очень существенной коррекции.

Преданность государству и готовность подчинять ему личные интересы не воспринимается как нечто противостоящее индивидуальным правам и свободам. Речь идет совсем о другом — о неприятии нынешних попыток приватизировать государство, поставить его на службу не общим, а частным и групповым интересам, о запросе на возрождение отечественной традиции государственного служения, но без реанимации традиционно-российской не-свободы. Речь идет и о выравнивании возможностей для пользования свободой, причем не столько политических, сколько социально-экономических. Люди готовы к самоограничению во имя государства, но не ради культивирования бедности, а в обмен на гарантии равенства как в этом самоограничении, предполагающими контроль над соблюдением законодательно установленных «правил игры», так и в том, что касается условий для повышения индивидуального благосостояния.

Чтобы в стране появились не только частные лица, озабоченные лишь своими личными интересами, но и граждане, заинтересованные в судьбе страны, государство должно помочь людям утвердиться именно в качестве частных лиц. И у нас нет никаких оснований утверждать, что в данном отношении российское общество готово предпочесть сильному государству русскую вольницу и анархию.

Разумеется, было бы нелепо отрицать, что многие люди пользуются попустительством нынешних властей, закрывающих глаза на царящие в стране произвол и беззаконие. Не исключено также, что они, как прогнозируют некоторые аналитики, откажут власти в доверии, начни та серьезную борьбу с проявлениями вольницы. Но

это произойдет лишь в том случае, если обуздание вольницы «внизу» начнется при ее сохранении «наверху».

Единственный способ укрепления российской государственности при сохранении демократического вектора развития — самоограничение постсоветских элит. Если они этого не сделают добровольно, то их притязания должны быть поставлены в законные рамки принудительно. Не сделает этого нынешний режим — на смену ему придет другой, который под той или иной идеологической вывеской реанимирует (надолго или нет — вопрос другой) отечественную традицию диктата государства над обществом.

6

Восприятие и оценка россиянами коллективизма, справедливости, ограничения политической свободы во имя порядка и самоограничения граждан во имя государства вполне сочетается с их отношением к самобытной российской духовности. Несмотря на то, что ее почвенническая версия, противопоставляющая духовное начало (как более высокое) материальному (как более низкому), вызывает сочувственную реакцию почти у половины населения страны, сколько-нибудь значительного политического и идеологического капитала нынешние отечественные почвенники извлечь из этого не могут и не смогут.

Наше исследование показало: люди могут соглашаться с тем, что «преобладание духовных ценностей над материальными» составляет самобытную особенность России и ее народа, могут видеть в ней ценное народное достояние, не воспринимая при этом «преобладание духовного» как компенсацию материальной необеспеченности. Духовное не вместо высоких жизненных стандартов, а как их следствие — таково умонастроение, доминирующее сегодня в российском обществе. В этом умонастроении нет и намек на чувство превосходства над западным человеком с его мещанством («меркантилизмом и вещизмом»); наоборот, в нем отчетливо просматривается желание сравняться с этим человеком во всем, что касается материального комфорта и качества жизни.

Другое дело, что это сформировавшееся желание наталкивается сегодня у многих на преграды, которые кажутся непреодолимыми. Стремление к высоким жизненным стандартам в условиях, когда они не только не повышаются, но и снижаются, сопровождается обостренной реакцией на распад прежних связей между

людьми, ностальгией по традиционной для России теплоте эмоциональных контактов, по знаменитой русской душевности, которая и воспринимается как одно из главных проявлений российской духовности. Но эта ностальгия вовсе не означает массового отторжения западной рациональности, а свидетельствует о неприятии нынешней бездушно-технократической реформаторской практики, когда изменение жизненного уклада миллионов людей осуществляется без участия самих этих людей, без внимания и сочувствия к их заботам и проблемам, без эмоционального соучастия в их жизни. Они как бы говорят властям: будьте самобытными, когда речь идет о русской душевности, об эмоциональной сопричастности нашим бедам, и будьте таковыми, когда дело касается взаимоотношений человека и государства, не ущемляйте нашего достоинства, которое мы обрели и которое стало для нас главной жизненной ценностью.

В таких настроениях при всем желании трудно обнаружить озабоченность чрезмерным возвышением материального и принижением духовного начала, но можно без особого труда обнаружить болезненную реакцию на технократическую глухоту властей к человеческому измерению осуществляемых в стране преобразований. Тут не традиционное противопоставление духовного и материального, а неприятие бездушного отношения к материальной необеспеченности большинства населения.

Апелляции современных отечественных почвенников к самобытной российской духовности и сетования по поводу ее утраты, ее вытеснения культом потребительства и гедонизма не так уж самобытны, как многим может показаться и казаться. В послевоенной Западной Германии аналогичные рассуждения приходилось выслушивать отцу немецких реформ Людвигу Эрхарду, который обвинялся (разумеется от имени народа и его традиций) в насаждении грубого материализма, разрушающего немецкую душу и немецкий дух. Ответы Эрхарда на эту критику актуальны и поучительны. И не только потому, что они, как оказалось, больше соответствовали представлениям послевоенных немцев о самих себе, чем представления немецких почвенников. Они актуальны и поучительны еще и потому, что они, судя по нашим данным, довольно точно выражают и настроения нынешних россиян, в массе своей отторгающих почвеннические построения о духовном и материальном. Ответы германского реформатора вполне могут рассматриваться как выводы из нашего исследования; поэтому представим его аргументацию как можно полнее.

«Конечной целью всякого хозяйствования, — писал Эрхард, — есть и будет освобождение людей от материальной нужды. Поэтому я думаю также, что чем лучше нам удастся распространить и

умножить благосостояние, тем реже люди будут предаваться образу жизни и умонастроению, основанным только на интересе к материальным благам. Лишь подъем уровня благосостояния создаст те условия, которые могут оторвать человека от его примитивного, по существу только материалистического, мышления; во всяком случае, он должен был бы этому способствовать. И я верю в это, так как мне представляется, что люди будут связаны материалистическими понятиями лишь до тех пор, пока они находятся во власти каждодневных забот и не способны в таком бедственном положении подняться выше низменных жизненных интересов. Наоборот, когда люди, идя путем благосостояния и социальной обеспеченности, приходят к сознанию самого себя, своей личности и своего человеческого достоинства, они приобретают возможность, я сказал бы даже — радостную надежду, вырваться из материалистического образа мышления... Я задаю со всей настойчивостью вопрос: означает ли наличие радиоприемника, пылесоса, холодильника и так далее в доме зажиточного человека нечто другое, чем в квартире рабочего? Или это в одном случае выражение цивилизации и культуры, а в другом — признак материалистического умонастроения?.. Я не знаю... почему и в какой степени душе человека, как таковой, могла бы угрожать опасность в результате достижения благосостояния и богатства. Тогда надо было бы поставить встречный вопрос: начиная с какого размера дохода человеческая душа уже не находится в опасности? Однако не является ли постановка этого вопроса насмешкой?.. Никакое возражение не может изменить мое убеждение, что бедность является важнейшим средством, чтобы заставить человека духовно зачехнуть в мелких материальных каждодневных заботах. Может быть, гении могут подняться над этой нуждой; в общем же материальные заботы делают людей несвободнее; они остаются пленниками своих материальных помыслов и стремлений». (1)

Сноска (1). Людвиг Эрхард. Благосостояние для всех. М., 1991, стр.211 — 216.

Послевоенная Западная Германия, в конце концов, приняла эту логику, несмотря на то, что многие немецкие интеллектуалы той поры пытались опровергнуть ее ссылками на особую немецкую духовность, предопределявшую, на их взгляд, особую судьбу страны и ее особый путь в истории. Очень близка к тому, чтобы принять ее, и сегодняшняя Россия. А чтобы это произошло, предлагать ей надо не национальные *идеи*, а общенациональные *задачи*, главную из которых опять-таки трудно сформулировать лучше и короче, чем сделал это Эрхард, назвавший свою книгу «Благосостояние для всех». Такая формулировка хороша тем, что возлагает решение задачи не только на граждан, но и на власть, призванную обеспечить

равные условия для повышения благосостояния. Хороша она и тем, что направлена против бесконтрольного нынешнего обогащения немногих. И, наконец, она вполне соответствует сегодняшнему идеологизированному состоянию российского общества

Еще при советской власти в сознании россиян начал осуществляться еще один эпохальный сдвиг: стремление к обустроенной и комфортной жизни постепенно отделялось от привязанности к коммунистической «великой мечте», которая поддерживала духовное и материальное в состоянии нерасторжимого единства благодаря тому, что отделила первое от второго во времени; духовное (идейное, сознательное) привязывалось к настоящему, а материальное (наивысший уровень производительности и благосостояния) отодвигалось в будущее в виде исторической награды за бескорыстное служение этому будущему и веру в него. Одновременно осуществлялся и другой, не менее важный, сдвиг: отщепление материального, связанного с частной жизнью, от духовного, ставящего материальное в зависимость от воплощения общих для всех отдаленных целей и идеалов, сопровождалось и персонификацией самой духовности; она переставала выглядеть монополией **народа**, данной ему от века и предопределяющей его мессианскую роль в мировой истории, и начинала восприниматься как достояние **личности**, приобретаемое благодаря индивидуальным усилиям.

Именно об этом свидетельствуют полученные нами данные: в сегодняшней России люди чаще склонны считать, что духовность человека не предопределяется местом (страной) его проживания, что она от этого не зависит.

Духовность народа, всецело подчиняющая себе личность и не предполагающая ее свободного духовного самостроительства, всегда тек или иначе означает доминирование в сознании образа воина над образом работника. Что это значит применительно к условиям XX столетия, мы хорошо знаем по собственному опыту, опять-таки не очень отличаясь в данном отношении от Германии. Похоже, что и нам, как и немцам, уроки века пошли впрок. Доминирование воина над работником предполагает, что благополучие и величие страны связывается, прежде всего, с военной мощью, величиной территории и природными ресурсами. Такие представления, как показывают наши данные, россиянами в значительной степени изжиты; величие страны и народа в их глазах определяется, в первую очередь, уровнем развития промышленности и благосостояния населения.

Эти сдвиги в сознании россиян не могли не сопровождаться девальвацией ценностей, веками считавшихся их самобытным духовным достоянием, — прежде всего знаменитого русского долготерпения и русской житейской непритязательности. Наше исследование показало: в народе сохранилось восприятие российской духовности, как «веры в будущее, помогающей терпеливо переносить трудности настоящего», как сохранилось и представление о таких особенностях россиян, как терпеливость (способность в течение длительного времени переносить трудности и лишения) и готовность довольствоваться малым (скромность потребностей). Однако отношение ко всему этому становится все более критическим.

Если русское долготерпение назвали в числе самобытных качеств своих соотечественников 67% опрошенных, то положительно оценили его только 32%, а 27% назвали его помехой на историческом пути России. Еще выразительнее данные по довольству малым: 53% респондентов причисляют его к особенностям народа России, но только 12% считают эту особенность ценной, между тем как 34% опрошенных выставили ей отрицательные оценки.

Терпеливость и довольство малым — составляющие образа воина, чье добровольное самоограничение может поддерживаться или войной, которую ведет его страна, или ожиданием неизбежного нападения на нее — в этом случае человек может чувствовать себя воином даже тогда, когда он выступает в роли работника. Но если войны нет, а угроза ее становится все более проблематичной, то солдатские ценности начинают тускнеть, соприкосновения с мирной трудовой повседневностью они не выдерживают. Последние советские десятилетия продемонстрировали тщетность попыток превратить страну во всеобщий стройбат, а нравы и уровень дисциплины в самих стройбатах, где люди были одновременно и работниками, и солдатами, лучше, чем что бы то ни было, выявили исчерпанность прежних ценностей.

Поэтому совершенно беспочвенными выглядят упования некоторых отечественных интеллектуалов–почвенников на то, что Россия в большей степени, чем современный Запад, готова отозваться на вызовы времени культивированием массовой аскезы (в духе европейского протестантизма XVI века). Исторический потенциал аскезы воина, возможность ее приспособления к невоенным условиям выявили свою ограниченность еще в советские времена, а традиция производительной мирной аскезы протестантского образца в России не сложилась. И менее благоприятные, чем сейчас, обстоятельства для ее укоренения трудно придумать.

Можно сетовать на то, что ценности материального комфорта и индивидуального потребления подчинили себе человеческую жизнь, вытеснив ценности более высокого порядка. Но тут одно из двух: или Россия без всякого высокомерия и чванства признает, что выйти за пределы обывательской эпохи если и можно, то лишь пройдя через нее, или в очередной раз попытается обойти ее стороной, апеллируя к высшим ценностям, которые сегодня, как и прежде, могут лишь мифологизировать обывательские притязания, придав им ореол «великой мечты».

У нас нет оснований утверждать, что такое немисливо в принципе. Но что прежние ресурсы мифологизации и героизации повседневной обыденности Россия исчерпала, мы можем говорить вполне определенно и с полной ответственностью.

Эта исчерпанность проявляется не только в том, что воинские терпеливость и — особенно — довольство малым утрачивают свое обаяние в глазах наших сограждан. Еще нагляднее она обнаруживает себя в размывании самого **воинского содержания** этих качеств в представлениях тех, кто продолжает придавать им большое значение, видеть в них ценное самобытное достояние России и ее народа. Воин подчиняется приказу; в его жизни официально-уставные отношения доминируют над личными. Между тем наше исследование выявило прямо противоположную закономерность: склонность высоко оценивать терпеливость и довольство малым сочетается с повышенными оценками такой самобытной особенности россиян, как их склонность переводить официально-деловые отношения в неформально-дружеские.

Если учесть, что благосклонное отношение к этой склонности, равно как и к русскому долготерпению и даже к русской неприхотливости уживается сегодня с ориентацией на западные стандарты потребления (а дело обстоит именно так), то вывод напрашивается сам собой. В российском обществе наблюдается или отказ от спартанских ценностей походной жизни в пользу ценностей частного благополучия, или желание соединить эти ценности в условиях, когда мирная жизнь по своей напряженности приближается к походной. Соединить же их можно только одним способом: размывая формальные, служебно-официальные связи и возвышая над ними связи неформально-личные, ставя последние на службу частным интересам. В данном случае мы имеем дело с начавшимся в послевоенные годы вытеснением образа воина, но не образом работника, а образом частного потребителя, решающего свои проблемы посредством обмена услугами с другими такими же потребителями в обход официально-служебной иерархии и декларируемых ею принципов.

Вместе с тем, наше исследование не подтвердило мнения не-

которых исследователей русского национального характера о том, что приверженность к неформальным связям и стремление подчинить им связи деловые является глубоко укорененной самобытной особенностью россиян. Это мнение обосновывается обычно ссылками на русскую общинность, дух которой не исчез якобы и после того, как сельская Россия стала городской, а трансформировался в городской быт, в многочисленные взаимопересекающиеся круги неформальных контактов и неформального общения (в «дружеские сети», как называют их некоторые авторы). Возможно, наблюдение за позднесоветской и постсоветской реальностью дают основания для таких предположений. И все же, никоим образом не претендуя на окончательность и бесспорность нашего вывода (тут нужны дополнительные исследования), отметим: склонность переводить официально-деловые отношения в неформально-дружеские назвали самобытной чертой россиян менее трети наших респондентов, а положительную оценку выставили ей всего 10% опрошенных.

Не исключено, что в постсоветской России с ее простаивающими предприятиями и дефицитом рабочих мест круг людей, которые могут воспользоваться личными связями, резко сузился, а то, что воспринимается как привилегия немногих, не может выглядеть самобытной особенностью, присущей всему народу. Не исключено также, что размытость границ между деловыми и личными отношениями и склонность подменять первые вторыми многими воспринимается как источник и — одновременно — проявление нынешнего дефицита упорядоченности, законности, системности. Во всяком случае, людей, негативно оценивающих такую склонность, в российском обществе сегодня даже больше, чем симпатизирующих ей. Существенно при этом, что подобные настроения чаще имеют место в провинции, чем в больших городах, причем подвержены им, прежде всего, квалифицированные специалисты, стоящие, как правило, на последовательно реформаторских позициях, отторгающих советское прошлое, но крайне остро и болезненно реагирующих и на постсоветскую жизненную игру без правил.

Таким образом, в малых городах, считающихся обычно очагами консерватизма, сегодня существует относительно многочисленный реформаторский слой, усматривающий главное зло в самобытной предрасположенности россиян подменять деловые отношения личными в ущерб делу самих реформ и какому бы то ни было делу вообще. Этот потенциал, судя по всему, пока никак и никем не востребован — ни экономически, ни политически. Между тем провинциальный идеализм, провинциальная романтизация нового (демократически-правового) порядка могут выдохнуться и за-

чахнуть. Поэтому внимание к реформаторской части населения провинции, учитывая ее относительную малочисленность, сегодня не меньше, а может быть, даже более важно, чем внимание к жителям больших городов.

8

Размывание в массовом сознании образа воина и соответствующих этому образу ценностей, вытеснение их ценностями мирной частной жизни и ее обустройства, начавшееся еще при советском режиме, не могло не сказаться на взаимоотношениях человека и власти, которая вынуждена было совмещать несовместимое: поощрять «обывательские» настроения населения, его стремление к житейскому комфорту, сохраняя одновременно политико-идеологический и экономический диктат над ним, поддающийся оправданию лишь в условиях войны или реально ощущаемой военной угрозы. Очевидно, именно двусмысленность последних советских десятилетий во многом предопределила представления людей о самобытных особенностях России и ее народа, выявленные в ходе нашего исследования. Оно показало, что и те особенности, которые чаще всего оцениваются положительно, и те, которые вызывают наибольшее неприятие, так или иначе связаны с отношением народа и власти.

Неприятие вызывают прежде всего такие черты россиян, как их склонность во всем уповать на власть (41% отрицательных оценок) и покорность перед ней (37%). Существенно, однако, что негативные оценки этим особенностям выставили хотя и многие, но все же не большинство наших респондентов, причем не потому, что относятся к ним благосклонно (таких почти нет), а потому, что не считают их нашими самобытными особенностями.

Это значит, что сам характер взаимоотношений в России народа и власти чаще выглядит сегодня более сложным, словами «упование» и «покорность» не передаваемым. Лучше всего, судя по нашим данным, здесь подходит слово «жизнестойкость», расшифрованное нами как склонность народа к развитию вопреки притеснениям и запретам власти. Эта особенность россиян не фигурирует обычно ни в почвеннических, ни в либеральных версиях русской самобытности. И, тем не менее, именно она воспринимается сегодня как самое ценное достояние россиян, именно с ней большинство из них (53% опрошенных) связывает надежды на будущее страны и свое собственное.

Таковы результаты народной экспертизы, свидетельствующие о

том, что русская самобытность воспринимается сегодня как некое сочетание конформизма и диссидентства, как готовность примиряться с властью, какой бы она не была, и способность противостоять ей, обходя ее запреты и предписания. И такое восприятие, не лишенное некоторой экзотичности, отнюдь не беспочвенно. Скорее, наоборот — оно, как никакое, быть может, другое, укоренено в реальной, а не придуманной идеологами отечественной почве.

Переход от войны к миру с сопутствующим ему вытеснением образа защитника-воина образом частного потребителя при сохраняющемся диктате государства над обществом всегда сопровождался в России утверждением своего рода мирного сосуществования между властью и народом. Власть освобождала себя от щепетильно-строгого следования своим принципам, ее представители начинали больше думать о себе, чем о служении стране и государству, но такое самопопустительство влекло за собой и некоторое попустительство по отношению к народу, который получал возможность в определенных пределах действовать как бы вопреки власти и ее предписаниям. Это и есть чутко уловленная нашими респондентами российская самобытность **мирного времени**, когда легализуются притязания человека как частного потребителя, а его права и свободы как собственника, работника и гражданина остаются отчужденными в пользу государства.

В данном отношении предельным воплощением отечественной самобытной традиции был брежневский период; из него, скорее всего, и черпает постсоветский человек свое представление о ней. Однако и сегодня эта традиция не исчерпана. Конституционное закрепление прав собственности и труда, а также гражданских свобод, предоставление людям возможности влиять на персональный состав органов власти сами по себе ничего не изменили и не заставили людей отказаться от признания самой ценной особенностью россиян их умения добиваться успехов вопреки власти и в обход нее, даже когда они поддерживают ее на выборах. И такие настроения вполне соответствуют происходящему в жизни.

Постсоветская власть, включая главу государства, — первая в российской истории, которая избирается народом, то есть находится в прямой зависимости от общества. Однако пока эта власть, отказавшись от прежнего экономического и политико-идеологического диктата, не смогла обеспечить переход к правовому упорядочиванию общественной жизни; старый порядок отвергнут, а новый на смену ему не пришел. Поэтому в период между выборами мы имеем все то же самобытное мирное сосуществование власти и народа при их взаимном попустительстве друг к другу. Демократические процедуры сами по себе не в состоянии обеспечить трансформацию психологии солдата в психологию свободного ра-

ботника и законопослушного гражданина — ни «наверху», ни «внизу». Но такая трансформация, повторим, может осуществиться только в том случае, если она начнется с самоограничения «верхов», а не с давления последних на «низы».

Постсоветский массовый «вопрекизм» играет сегодня определенную стабилизирующую роль, блокируя общественные расколы и как бы перекрывая их. Но он же — тревожный симптом ненормальности нашего развития, а не повод для гордости народной жизнестойкостью и приспособляемостью. Ненормальность же эта может быть исторически исчерпана лишь тогда, когда сама власть и примыкающие к ней финансовые и другие элиты поставят себя в жесткие правовые рамки. И народное «вопреки власти» может им здесь помочь, если оно будет проявляться не только в стремлении обойти ее предписания, но и в постоянном политическом давлении на нее в тех случаях, когда эти предписания нарушаются ею самой. А это, в свою очередь, предполагает не свертывание демократических процедур (во имя порядка, стабильности или чего-то еще), а их укрепление и развитие. Дорога к правовому государству в сегодняшней России пролегает через политическую демократию. Разумеется, история, как и всегда, ничего не гарантирует, и гарантировать не может. Но она дает стране шанс, которого никогда раньше не давала.

9

Наше исследование показало, что девальвация прежних ценностей, так или иначе связанных с образом воина, их вытеснение ценностями материального комфорта, ассоциируемых с западными стандартами потребления, уживается в массовом сознании с неуверенностью в возможностях сегодняшнего российского работника сделать эти стандарты достижимыми. Россияне достаточно скромно оценивают трудовые качества своих соотечественников по сравнению с соответствующими качествами западных людей: умение работать на совесть, старательность в исполнении порученного дела, дисциплинированность называют среди достоинств западного работника значительно больше (на 30 — 44%) опрошенных, чем среди достоинств работника российского. Это говорит о самокритичности российского общества, отсутствии в нем национальной спеси, но это же свидетельствует о том, что трансформация образа воина в образ работника не выглядит в глазах постсоветского человека завершенной. Российский труженик видится ему чем-то гибридным, соединяющим в себе черты западных и советских людей.

С одной стороны, признается его родство с западным работником в том, что касается доминирования экономических побуждений к труду («работает прежде всего ради денег»). С другой — фиксируются некоторые особенности россиян, которых люди, живущие в странах Запада, кажутся лишенными: приспособленность к результативной работе не столько в обычных, сколько в критических обстоятельствах, предрасположенность к служению «общему делу», а также склонность ставить дружеские отношения на работе выше самой работы. Это значит, что русский работник воспринимается сегодня россиянами и как человек, руководствующийся сугубо экономическими побуждениями к труду (работает ради денег), и как труженик-воин раннесоветского образца, лучше всего проявляющий себя в трудовых «штурмах» и «сражениях» (работа в чрезвычайных обстоятельствах, причастность к «общему делу»), и, наконец, как человек, прошедший школу позднесоветской штурмовщины и позднесоветских простоев, когда рабочее время стало пространством приятельского общения, а ценность самого труда постепенно отодвигалась на второй план вопреки отчаянным усилиям властей по «трудовому воспитанию» советских людей.

Таким образом, российский работник в глазах россиян выглядит сегодня таким кентавром, сочетающим в себе экономическую трудовую мотивацию, которая роднит его с западными людьми, с мотивацией самобытно-почвеннической, которая его принципиально от них отличает. Но отсюда вовсе не следует, что постсоветский человек готов вернуться к планово-мобилизационной экономике с ее штурмами и штурмовщиной и не готов признать преимущества экономики западного типа.

Народная экспертиза не подтвердила предположений о том, что русский человек по своей трудовой мотивации был и остается человеком «дозэкономическим» и потому способен гораздо быстрее и безболезненнее, чем западный, стать человеком «постэкономическим». Она показала совсем другое: россияне хорошо помнят о том, какими они сами или их отцы были в недавнем прошлом, они не собираются это прошлое перечеркивать, но они отдают себе ясный отчет и в том, что самобытная трудовая мотивация не сделала русского работника лучше западного, а Россию не сделала более процветающей страной, чем Америка, Германия или Швеция. Она показала также, что в российском обществе существует массовый запрос не на самобытно-российскую, а на западную организацию труда и западные способы его стимулирования, чего в России не было раньше и нет до сих пор. А пока этого нет, говорить о чуть ли не самобытной генетической неприспособленности русского человека к такой организации и таким способам стимулирования нет ни малейших оснований.

Исчерпанность ресурсов почвеннической (доэкономической) трудовой мотивации и почвеннической самобытности вообще отчетливее всего проявляется при сравнении двух групп российского общества, придерживающихся диаметрально противоположных политико-идеологических взглядов: одна из них ориентируется на западные стандарты потребления и западные принципы организации экономической и политической жизни (условно мы назвали ее представителей *демократы-западники*), а другая (*социалисты-реставраторы*) — на советский социализм брежневской эпохи. И дело не только в том, что *социалистов-реставраторов* в России сегодня сравнительно немного (всего 12%), между тем как *демократов-западников* в три с половиной раза больше.

Мировосприятие *социалистов-реставраторов* — это буквальный слепок с официальной идеологии брежневской эпохи, идеологии, безуспешно пытавшейся совместить несовместимое: романтику революционно-коммунистического первопроходчества с ценностями частной жизни и индивидуального благосостояния, героическую риторику — с повседневной обыденностью, образ воина — с образом потребителя и работника. Попытки эти были настолько же самобытными, насколько и взрывающими эту самобытность изнутри; конкуренция с Западом на потребительском поле при сохранении устоев коммунистического режима не могла увенчаться сколько-нибудь серьезными успехами, а неудачи, в свою очередь, ускоряли разложение и загнивание самого режима.

Это и есть тот «золотой век», который хотели бы вернуть *социалисты-реставраторы*. Брежневский «реальный социализм» не выглядит в их глазах загнивающим, но он не выглядит и превосходящим западные образцы; просто последние, в отличие от образцов «реального социализма», кажутся заведомо недостижимыми. А это значит, что люди, наиболее отзывчивые к почвенническим представлениям о самобытности России, не усматривают в этой самобытности никаких оснований для притязаний на мессианскую роль и мировое лидерство.

Былые идеалы отечественного почвенничества перестали быть идеалами, утратили свой мобилизующий пафос и трансформировались в ностальгию по разлагавшейся позднесоветской повседневности. Это, быть может, и есть главный результат нашего исследования, свидетельствующий об исторической исчерпанности почвеннической идеологии, противопоставляющей Россию западному миру, во всех ее умозрительных прежних вариантах и практических воплощениях — славянофильском (общинном), уваровском (самодержавно-государственническом) или большевитско-коммунистическом